

80-413

И И Ш П Л О В



ВО ЛЬДЫ  
ЗА «ИТАЛИЕЙ»

НОГОДА БВАРДИ

## Annotation

---

- [Николай Николаевич Шпанов](#)
    - 
    - [ЧУХНОВСКИЙ ХОЧЕТ ЛЕТАТЬ\[1\]](#)
    - [ЗА МАЛЬМГРЕНОМ](#)
    - [РАССКАЗ ЦАППИ](#)
    - [ЗА ГРУППОЙ ВИЛЬЕРИ](#)
    - [В полярные льды за «Италией»](#)
    - [ЗА ГРУППОЙ ВИЛЬЕРИ](#)
    - [К ЧУХНОВСКОМУ НА ВЫРУЧКУ](#)
    - [КИНГСБЕЙ](#)
    - [ПРИМЕЧАНИЯ:](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
-

**Николай Николаевич Шпанов**  
**В полярные льды за**  
**«Италией»**



# ЧУХНОВСКИЙ ХОЧЕТ ЛЕТАТЬ [\[1\]](#)

Снова тяжелая битва со льдами. Час за часом уходит на преодоление этих двух миль, а расстояние до намеченной под аэродром льдины почти не уменьшается. В кают-компании деятельно обсуждают тысячи подробностей устройства аэродрома и предстоящей лётной работы. В кругу своих соратников сидит Чухновский. На каждого приходится столько забот, что трудно себе представить, чтобы один человек мог с ними справиться. Никто из них теперь уже не обедает во-время. Едят урывками, когда попало. Сейчас, обсуждая план будущей работы, Чухновский с аппетитом доедает зажаренную тюленью печенку, единственную часть туши моего тюленя, которая оказалась использованной.

К 16 часам, после семичасового движения, «Красин» подходит вплотную к большому полю, размером, примерно, 600x1000 метров, избранному Чухновским в качестве аэродрома. Но если на расстоянии двух миль с верхнего мостика это поле казалось ровным, то теперь, подойдя к нему вплотную, мы видим, что оно далеко не представляет собою блестящего аэродрома. Гряда холмов перерезает все поле по диагонали. Много высоких снежных кочек. Со всех сторон оно окружено высокими торосами. Ткнувшись несколько раз, «Красин» глубоко врежется в аэродром с зюд-зюд-остовой его стороны.

Первый же обход поля на лыжах едва не убедил нас в полной его непригодности. Яркий свет солнца скрыл тени возвышенностей, которые разбросаны по всему полю, и которые, сойдя на лед, мы видим. Под толстым

покровом снега скрываются острые ледяные пороги. Они расставлены по всему аэродрому в таком порядке, словно кто-то нарочно и заранее предусмотрел, что здесь будут пытаться создать аэродром и желал этим попыткам помешать.

Расположенные вокруг аэродрома торосы медленно движутся в направлении ветра. Мне удастся пройти по этим торосам лишь сотню шагов- отдельные льдины невелики и все время движутся. Легкое шуршание и бульканье воды сопровождают их движение. Если льды будут продолжать двигаться, едва ли наш аэродром продержится долго- его неизбежно должно изломать натиском идущих льдов.

На утро 7 июля мы отправляемся красить аэродром. Все препятствия, разбросанные по его полю, нам нужно окрасить яркой краской, чтобы дать возможность Чухновскому при взлете и посадке отличить их на однообразной белой поверхности лётного поля. Покраска заключается в посыпании снега порошком анилиновой краски, смешанным с солью. На снегу порошок дает яркий желтый цвет. Процедура сама по себе ничего сложного не представляет. Вы сыплете из жестянки краску на снег, и ветром ее разносит далеко вокруг. Спустя два часа, мы возвращаемся на «Красина» пожелтевшими с ног до головы.

Пока мы возились с окраской аэродрома, по толстым бревнам эстакады "Ю. Г. I." уже спустили на лед. На руках команды, по смазанным тавотом доскам сползла огромная алюминиевая птица и уже расправила свои широкие крылья на льду. Механики группы- Шелагин и Федотов- возятся около машины. К полуночи самолет должен быть готов к старту. Но не так просто заставить работать застоявшиеся моторы в этой температуре. По десять раз Федотов с Алексеевым виснут на желтых лопастях пропеллеров, пытаюсь завести моторы. Моторы стреляют, чихают, подхватывают винт на два

оборота или толкают его в обратную сторону, а итти не хотят.

- Выключено?
- Выключено!
- Контакт?
- Есть контакт!
- Раз!.. два!.. три!..

Алексеев и Федотов, взявшись за руки, дергают винт, а голова Страубе, крутящего ручку пускового магнета на самолете, мотается за козырьком. Эта перекличка продолжается битый час. Наконец, все три пропеллера образуют прозрачный сверкающий диск, из-под которого к хвосту машины летят целые снежные вихри. Дан полный газ. Моторы прогреты, и Чухновский делает пробную рулежку. Страшно смотреть на машину, виляющую по снежным холмам. Крылья едва-едва не задевают поверхность аэродрома. Лыжи вздымают целые снопы снежных брызг. Сделав круг по аэродрому, Чухновский возвращается к борту корабля. Моторы работают четко. Машина в порядке. Можно итти в полет. Вся лётная группа отправляется спать, с тем, чтобы утром 8-го итти в первый полет.

8-го, в 10 часов, снова начинается скучная процедура заводки моторов. Снова битый час длится перекличка у пропеллеров, пока, наконец, все три мотора не начинают ровно гудеть.

За ночь машина успела примерзнуть. Бешено ревушие на полном газе пропеллеры вздымают снежные бураны, но машина стоит неподвижно. Команде приходится раскачивать ее за крылья, чтобы столкнуть с места. Наконец "Ю. Г. I." тяжело срывается с места и бежит по аэродрому. Ветер заставляет итти на разбег вдоль борта «Красина». Чухновский целится в промежуток между двумя большими торосами. Машина бежит неровно, качаясь на снежных буграх. Совершенно неожиданно в том промежутке между

торосами, куда рулит Чухновский и где поле кажется совершенно гладким, самолет подсакивает и тяжело плюхается в снег. Под ровным снежным покровом оказался ледяной порог. Порог пришелся очень некстати- машина уже набрала скорость, и Чухновский начинает отрываться от аэродрома. Все боятся, что за этим порогом машина уткнется лыжами в снег и зароется, не успев взлететь. Но подброшенная сильным толчком, машина валится влево как раз в тот момент, когда лыжи ее уже отделились от снега. Самолет- в воздухе.

Ровное гудение моторов говорит о спокойном полете. Но если спокоен пилот, столь уверенно и искусно поднявший машину, несмотря на неожиданное препятствие, — нет спокойствия у нас, оставшихся внизу. Нам видно: правая лыжа ушедшей в воздух машины беспомощно повисла на оси, приняв вертикальное положение. Вероятно, при ударе о торос оборвался ограничительный тросик, и ничто не может теперь заставить лыжу принять нормальное положение. А посадка с такой лыжей- это 99 % «капот». Иными словами, машина разобьется.

Несколько минут проходят в полном оцепенении. Я ломаю себе голову: как предупредить Чухновского о поломке. Радио-связи с ним нет, заранее решено, что в этом полете Алексеев даже не будет выпускать антенну. Нам приходит в голову выложить на снегу лыжу и обвести ее большим кругом красной анилиновой краски. Но и самим совершенно ясно, что эту лыжу сверху невозможно разобрать, и Чухновский будет только недоумевать. Я делюсь сомнениями с механиком Федотовым. Он обрадованно хлопает себя по лбу:

— Так мы же выложим сейчас запасную самолетную лыжу. Без дальних рассуждений он бежит на корабль в сопровождении двух кочегаров.

Спустя пять минут обведенная широкой красной полосой запасная самолетная лыжа уже лежит в центре аэродрома, ярко крича с белоснежной поверхности в небо.

Самолет идет на посадку. Я уверен, что Чухновский увидит наше предупреждение и будет садиться на левую лыжу. Жертвуя крылом, он может спасти людей. Осталось сто метров. Пятьдесят. Машина проходит над самыми мачтами «Красина». Со свистом и характерным шуршанием самолет приближается к посадке. Остается всего двадцать метров.

— Ну, а что может быть? — меланхолически спрашивает меня флегматичный Брейнкопф.

— Точка.

— Ну, неужто точка? — задумчиво качает головой Брейнкопф, — не может быть, что-нибудь он сделает.

Самолет в пяти метрах от земли. Сейчас он коснется аэродрома. У меня спирает дыхание. На краю аэродрома уже поджидает доктор Средневский, рядом с ним горбится неуклюжая фигура Анатоликуса, с мешком, набитым хирургическими инструментами и перевязочными средствами. На всех лицах, внимательно поднятых к свистящей машине, написано напряженное ожидание.

Уже у самого льда, вследствие понижения давления встречного воздуха на вертикально висящую носом вниз лыжу, она вдруг поднимается и принимает горизонтальное положение. Посадка совершается нормально. Машина цела, целы люди. Только ободранный фанерный обтекатель лыжи сохраняет следы столкновения со злополучным торосом.

— Эх, вы, паникеры. Вот он дернул за веревку, когда нужно, лыжа и поднялась обратно, — флегматически гудит Брейнкопф, поворачивается и медленно идет на корабль.

У него навсегда сохраняется впечатление о том, что все тревоги, пережитые нами за Чухновского, были напрасны, и ничего особенного не произошло. Но для нас ясно, что продолжать полеты на таком аэродроме без предварительной его подготовки и тщательной разметки нельзя.

Я получаю высокое назначение коменданта аэродрома. Предстоит выбрать на этой отвратительной льдине стартовые дорожки в различных направлениях, чтобы дать возможность совершить взлет и посадку при различных ветрах. Все препятствия на этих дорожках нужно снести. Ко всем блестящим качествам нашего аэродрома прибавляется еще то, что он начинает таять у нас на глазах. Все чаще снег проваливается под лыжами, и ноги уходят в ледяную воду, скопившуюся под снежным покровом. С лётнабом Алексеевым мы выбрали две дорожки в направлениях с оста на вост и с норд-норд-оста на зюд-зюд-вест. Длина остовой дорожки не больше двухсот пятидесяти метров, длина нордовой- всего около двухсот.

К четырем часам утра 9-го июля мы закончили выбор стартовых дорожек и предварительную их разметку. Я набиваю карманы шоколадом, и в сопровождении нескольких кочегаров отправляюсь на аэродром для приведения дорожек в порядок. Кочегары неистово ругаются: работа по сколке ледяных порогов на аэродроме их ни в какой мере не устраивает. Попадает, главным образом, конечно мне. Алексеев дипломатически улепetyвает каждый раз, когда, воткнув лопаты и пешни в снег, кочегары закуривают и начинают критиковать.

Тем временем в полутемной кают-компании над столом склонились Чухновский, Жюдичи, Миндлин и другие. Они что-то пишут, перечеркивают, переписывают. В четыре часа Чухновский передает Жюдичи французский текст письма, которое он

собирается сбросить сегодня на льдину Вильери. Жюдичи предстоит перевести на итальянский язык следующее:

"На борту «Красина». 9/VII 1928.

От имени Русского комитета помощи экспедиции Нобиле и от имени экипажа ледокола «Красин» авиатор Чухновский счастлив принести воздухоплавателям «Италии» самый сердечный привет.

Намерения авиатора Чухновского, который управляет трехмоторным самолетом Юнкерса, установленным на лыжи, заключаются в том, чтобы попытаться, как только позволят метеорологические условия, спуститься в непосредственной близости к группе и вслед за этим взять членов группы Вильери. Они благоволят приготовить сигналы и выставить их, чтобы показать наиболее благоприятное место спуска, длину площадки и толщину льда.

Наиболее благоприятное место для спуска должно быть отмечено знаком, обозначающим своим положением, что ветер дует против перекладки, так как самолет спускается против ветра. Пример:

-| (== (==

положение знака направление ветра

Сигналы должны быть четырех родов: 1) указывающий направление ветра, 2) условия посадки, 3) длину площадки, 4) толщину льда. Сигналы должны иметь в длину и ширину не меньше метра.

Борис Чухновский.

P. S. Настоящая инструкция бросается в двух экземплярах, каждый в отдельности. Анилиновые краски должны служить для сигналов.

На самолете с «Красина» обозначены красные советские звезды.

Документ написан на трех страницах.

Знаки для группы Вильери:

Хорошо (

Плохо (  
Лед меньше метра (  
Лед больше метра (  
Площадка 150 метров ((  
Площадка 250 метров (((".

Жюдичи старательно стучит «ремингтоном», и через час готов итальянский текст, который тщательно заклеивается в конверт. Сегодня Чухновский попытается сбросить письмо группе Вильери.

Сегодня на утро назначен полет. Поврежденная лыжа приведена в порядок, машина готова к старту. Но при первой же рулежке выясняется, что лыжи необходимо сменить вообще, они чересчур стары. В нормальных условиях на этих лыжах еще можно было бы летать и летать, но здесь, на аэродроме, расположенном под  $80^{\circ}47,2$  сев. широты и  $23^{\circ}08$  вост. долготы, к лыжам предъявляются несколько иные требования. Полет приходится отложить.

Тем временем наш аэродром с припаянной к нему черной коробкой «Красина» продолжает дрейфовать к западу. Владимир Александрович Березкин, который развел с противоположного от аэродрома борта «Красина» целое гидрологическое хозяйство, целые дни копошится у вьюшки, сооруженной судовым плотником. По наблюдениям Березкина, рельеф дна меняется очень быстро. Бывают случаи, когда за час глубина изменяется на тридцать-сорок метров. По наблюдениям штурманов, за последние сутки нас сдрейфовало на восемь миль. Усиливается дрейф к норд-осту под действием зюд-вестовых ветров, временами переходящих почти в чисто-зюдовые. Дрейфует наша льдина, дрейфуют и окружающие нас скопления торосов. Все шире становятся разводья, окружающие наш аэродром, все громче-шуршание трущихся друг о друга льдин. Теперь уже простым глазом можно

наблюдать, как смещаются относительно друг друга плывущие льды.

А вместе с южным ветром, идущим, быть может, с лазурных берегов Средиземного моря или со знойных алжирских песков, к нам доходят и остатки тепла, которые воздух не успел растерять, промчавшись над Европой и северными морями. Крохи тепла приносит он сюда для того, чтобы помочь яркому, но холодному солнцу растопить вечные льды. Но ни солнце, ни зюдовый ветер не могут справиться с двухметровой ледяной корой. Они точат лишь снежный покров, загоня голубые озера кристально-чистой пресной воды в огромные майны. Морозом эти майны прихватывает тоненькой коркой. На корке образуется толстый снежный покров. И до тех пор, пока вы не провалитесь сквозь эту тонкую корку, вы даже не подозреваете, что в льдине скрываются огромные водохранилища метровой глубины.

Скупая полярная весна все же дает себя знать на нашем аэродроме. Снег оседает. В солнечные дни лыжи не скользят с хрустом по его поверхности, а хлюпают по мокрой крупе. При малейшей неосторожности носы лыж с разбегу залезают под тонкую корку больших проталин и, не успев удержаться, сразу вкатываешься по колено в ледяную воду.

Но это бы ничего, если бы светило солнце. Густые волны тумана то и дело заволакивают небо. Временами туман бывает настолько густым, что на несколько десятков метров от корабля ничего не видно.

Я не ложусь спать двое суток, чтобы успеть приготовить стартовые дорожки Чухновскому. К двум часам ярко сверкающей ночи на 10 июля: снова появилось солнце, и Чухновский приготовился лететь. Но, посветив на время заводки моторов, солнце предательски скрылось, и аэродром снова погрузился в

непроглядное молоко. Самолет опять обречен на бездействие.

Немногим лучше дела у самого «Красина». Сломана лопасть левого винта. Сегодня водолаз Желудев объяснил поломку чугунного погона в румпельном отделении. Оказывается, напором льдов сломан ограничитель руля и массивное стальное литье петли, на которой подвешен руль. Такая поломка не сулит ничего хорошего. Остаться в этих льдах без руля-перспектива незавидная. Конечно, корабль, имеющий бортовые винты, не останется совершенно беспомощным, сумеет, может быть, выбраться из льдов, но задача эта отнюдь не легкая. Надо во что бы то ни стало отыскать возможно более легкий выход из льдов. Может быть, легче всего просто ждать, пока льды разойдутся под ветрами, или отыскивать наиболее выгодное направление с помощью самолета? Но ожидание отдалит на неопределенно-долгий срок цель экспедиции, и потому неприемлемо для нас. Чухновский с нетерпением ждет первой же возможности уйти в разведывательный полет. Яркое солнце, сопутствовавшее нам все дни, пока мы шли мимо берегов Норд-Остланда, все меньше и меньше выглядывает из туманов. Синоптическая карта Березкина все больше пестреет черными кружками сплошной облачности.

К шестнадцати часам 10-го туман кое-как разошелся. У самолета лихорадочно работают механики. Мне предстоит помочь развернуться Чухновскому, когда он подрулит к старту нордовой дорожки. В сопровождении нескольких кочегаров, бегу на лыжах два километра, отделяющих нас от старта. Отсюда мне видно- Чухновский начинает рулить по аэродрому, пробираясь к месту моей стоянки. С жутью гляжу на машину, переваливающуюся с крыла на крыло; элероны ее цепляются за снег. Доберется ли до

меня машина по бесконечным буграм и проталинам? С большой осторожностью ведет машину Борис Григорьевич. Сам он, чтобы видеть поверхность аэродрома, высунулся по пояс над козырьком. Наконец, машина подползает к стартовой дорожке. Лыжи продавили в талом снегу след глубиной в полметра. Мокрая крупа голубой дорожкой блестит до самого корабля. Мы бросаемся к левому крылу машины, чтобы дать возможность Чухновскому развернуться на месте и встать в направлении старта. Но чтобы пробежать двадцать шагов, которые отделяют нас от машины, нужно потратить много времени и усилий. С каждым шагом я проваливаюсь все глубже, у самого крыла ухожу по пояс в глубокий снег. Вода холодными струйками льется за высокие болотные сапоги. Но об этом некогда раздумывать. Судорожно вцепляемся мы в колышущееся алюминиевое крыло, и, работая правым мотором, самолет круто разворачивается на 180°.

Чухновский встает на своем сидении, чтобы еще раз ориентироваться в направлении разбега. Беспорядочно разбросанные красные пятна резко-окрашенных препятствий сбивают его с толку. Он складывает руки рупором и что-то кричит в мою сторону. За ревом моторов ничего не слышно. Подхожу к самолету и, преодолевая сопротивление упирающегося мне в грудь воздушного потока от винтов, лезу по скользкому крылу к Борису Григорьевичу, объясняю значение красных пятен и расположение препятствий. Меня смущает большой ледяной порог в конце дорожки, который нам так и не удалось снести целиком. Мне кажется, что Борис Григорьевич так и не разобрался во всем этом хаосе красных пятен, хотя он и кивнул мне удовлетворенно головой.

Включенный на большой газ мотор сбрасывает меня с крыла, я скольжу по алюминию и кубарем падаю в

предупредительно расступающийся подо мною талый снег.

Чухновский дает полный газ. Мы раскачиваем машину за крыло, чтобы облегчить ее движение с места. В этот момент из верхнего турельного люка высовывается красная физиономия Алексеева, — он машет руками. Подбегаю опять к самолету. Сильно сказано «подбегаю». Увязая по пояс в снег, руками и ногами карабкаюсь по льду в снежной буре, поднимаемой пропеллерами. Не подбегаю, а подползаю к самолету. В окошко высовывается зеленое лицо Блувштейна. Он знаками объясняет мне, что у них нет питьевой воды. Нужно набить снегом лейку из-под бензина. Застывшими руками набиваю снегом жестяную лейку, внутренняя поверхность которой оставляет на руках темные свинцовые пятна. Сую лейку в окно, машу рукой Борису Григорьевичу. Все готово. Раскачиваем машину изо всех сил. Она медленно сползает с места. Моторы сразу все включены на полный газ, и самолет бежит по выглаженной нами дорожке; гейзеры успевшей натаять воды разлетаются во все стороны из-под лыж.

К моему ужасу, Чухновский рулит прямо на предательский порог. о котором я ему только что говорил. Сейчас он сломает лыжи! Сейчас машина потеряет скорость и либо уткнется в гряду ледяных холмов, либо сбавит газ, чтобы остановиться. Но все происходит вопреки логике. От полученного толчка в ледяной порог машина, как с трамплина, подскакивает в воздух и плавно уходит в полет.

Смотрю на часы- шестнадцать часов тридцать минут. С чувством облегчения и усталости втыкаю ноги под ремешки своих лыж и иду к кораблю. В сознании- заманчивый образ койки, в объятия которой я сейчас упаду.

Самолет сделал круг над нашими мачтами и пошел в направлении на зюд-ост в сторону Карла XII. На горизонте- волна густого тумана, как дымовая завеса, катящаяся в нашу сторону с севера.

У борта сталкиваюсь с озабоченным Березкиным.

— Вот когда бы я хотел, — говорит он, — чтобы мое предсказание на сегодняшний день не оправдалось.

На этот раз Владимир Александрович оказался вороной, накаркавшей нам туман. Спустя полчаса после того, как ушел в воздух Чухновский, волна тумана докатывается до нашего поля, а спустя час- дальний конец аэродрома тонет в густом молоке.

Нам ясно- Чухновский должен вернуться. Всем нам хорошо известно, что значит посадка в низком тумане. Мы с нетерпением ждем, что из-под зуммера нашего радио вырвутся писки точек и тире, предупреждающих Чухновского об опасности. Но проходит 17 минут, и черная точка самолета исчезает над далеким силуэтом острова. Мы с нетерпением ждали этого первого полета, но сейчас у нас нет радости. Слишком мало хорошего предвещает метеорологическая обстановка.

На корабле- беспокойство. По верхнему мостику в волнении прохаживаются штурманы. Журналисты хвостом стоят у двери радио-рубки, ожидая, что вот-вот придет какое-нибудь известие от Алексева. Даже Жюдичи и Хуль, обычно не принимающие непосредственного участия в наших делах, на этот раз с беспокойством втыкают свои бинокли в горизонт.

— А ведь он мог не заметить тумана, туман надвигается сзади. Его надо предупредить! — говорит кто-то рядом.

В 16 ч. 42 мин. из-под карандаша вахтенного радиста Бакулина бегут по желтому бланку слова первой радиограммы Чухновского:

"Подходим к острову Карла. Подходим к острову Карла".

И затем в эфире снова воцаряется молчание. Наша антенна настороженно слушает, но от Чухновского нет ни звука.

В 17 час. 15 мин. в наушниках радиста опять позывные «Красина» и сбивчивые приходят слова:

"Прошли остров Эсмарка. Прошли остров Эсмарка. Идем югу. Идем югу. Внизу сплошные льды. Внизу сплошные льды".

Рука радиста не сходит с черного кругляка регулятора радиоприемника, он все время подстраивается под волну Алексеева, но не слышно ни звука.

Десятки и сотни различных мелодий и напевов несутся со всех концов Европы.

Концерты, театры, лекции и сообщения прессы — все назойливо лезет в наушники, но среди этого хаоса звуков нет ожидаемых позывных К К К. Только в 17 час. 50 мин. уши Бакулина воспринимают: "К К К, К К К, К К К".

Он сейчас же включает приемник и нервно выбивает ключом: «Красин» слушает. «Красин» слушает".

Снова выключен передатчик, и антенна настороженно слушает передачу Чухновского:

"Лагеря пока не нашли. Лагеря пока не нашли".

В 18 час. 18 мин. Чухновский сообщает о том, что поиски группы Вильери не увенчались успехом, и он поворачивает обратно.

Густой, как молоко, непроглядный туман тяжелой шапкой-невидимкой накрывает «Красина» и весь наш пловучий аэродром. Более несвоевременного тумана трудно представить. Ведь Чухновский возвращается обратно, а этот туман отрезает всякую возможность посадки. Ему не найти нас.

Нужно что-то придумать, чтобы указать Чухновскому наше местоположение.

Единственное средство- развести дымовый костер.

Пока мы возимся с подготовкой костра, наивные люди на мостике пускают в воздух сигнальные ракеты, но ракеты не оставляют за собой даже следа. Та же участь постигает и луч прожектора, над которым с упорством, достойным лучшего применения, возится электрик Леман. Прожектор сейчас равносителен свечке, зажженной в Сахаре в яркий солнечный день.

Комическим призывом звучит раздирающий душу крик сирены. Неужели кто-нибудь всерьез думает, что эту сирену можно услышать на самолете.

Единственное, на что есть надежда, — наш костер. Черный столб дыма устремляется в небо вертикально. Ведро за ведром выливаем мы масло на шипящие доски.

Меня начинает занимать совершенно посторонний вопрос: провалится сквозь льдину наш громадный костер или не провалится? Два часа спустя глубина проталины под костром — выше полуметра, но под теплой водой лед все так же крепок и плотен.

Надежды на посадку Чухновского на нашем аэродроме не остается никакой. Едва ли рискнет он подходить к аэродрому, даже если и заметит наш костер.

У самого края аэродрома торчат на несколько десятков метров вверх такие предательские штуки, как мачты и трубы «Красина», переплетенные целой сетью проводов радиостанции.

В 19 час. 45 мин. приходит от Чухновского радио, подтверждающее эти мои пессимистические предположения:

"Не можем подойти к «Красину» вследствие тумана. Видели группу Мальмгрена. Делаем последнюю попытку найти посадку в районе Семи Островов".

Проходит полчаса томительного молчания, и из эфира раздается вопрос:

"Какая у вас видимость? Какая у вас видимость?"

В ответ пищит наше радио:

"Видимость плохая. Видимость плохая. На льду разведен костер. На льду разведен костер".

Прождав безрезультатно 10 минут подтверждения о принятии нашего ответа, радист Юдихин выстукивает сам:

"Сообщите, поняли? Сообщите, поняли?"

Ответа нет. Радист ждет еще полчаса и снова бросает в пространство вопрос:

"Отвечайте, где вы? Отвечайте, где вы?" И опять:

"Почему не отвечаете? Почему не отвечаете?"

Целый час изводяще-томительного молчания. Юдихин нервно выстукивает ключом:

"Где вы? Где вы? Где вы? Отвечайте. Отвечайте. Отвечайте. Слушаем только вас все время. Слушаем только вас все время".

В 23 часа мы прекращаем жечь костер. У Чухновского, по нашим предположениям, уже иссяк запас бензина. Или он нашел место для посадки у одного из Семи Островов, или...

Строить предположения на тему об этом «или» мы имеем возможность неопределенно долгое время. Понурые, как еще ни разу за все плавание, мы разбредаемся по своим каютам. Усталость валит с ног. Но разве возможно сейчас заснуть, когда голова налита печальными вариантами второго этого «или».

В лазарете непривычно тихо. Обычные посетители чаепития Анатоликуса разговаривают шопотом. Анатоликус молча варит свой грог. Сегодня, по его мнению, нельзя не выпить чашку чая по случаю грустного событияисчезновения Чухновского.

Мне смертельно хочется есть. Анатоликус выкладывает на стол скопившиеся за трое суток вынужденной диеты консервы. Здесь и костистые бычки, и пресный судак, и вновь появившаяся белуга в томате. Пока Анатоликус готовит обед, я на минутку... всего на одну минутку после 72-часовой непрерывной

работы залезаю на койку и засыпаю мгновенно, как убитый.

## ЗА МАЛЬМГРЕНОМ

"Боцман" Южин, ушедший к начальнику экспедиции с самым похоронным видом, возвращается оттуда с лицом именинника. В его руках желтые бланки входящих радиограмм. Все устремляются к Южину. Торжественно, как евангелие, читает он радиограмму, семь часов назад полученную от Чухновского:

"Карта № 303. Мальмгрен обнаружен на широте восемьдесят градусов сорок две минуты. Долгота двадцать пять градусов сорок пять минут. На небольшом высоком остроконечном торосе между весьма разреженным льдом двое стояли с флагами, третий лежал навзничь. Сделали над ними пять кругов".

Далее подробно о благоприятном состоянии льдов и, наконец, о посадке:

"Виден был только Вреде. Выбора посадки не было. Сели на торосистое поле в миле от берега, на который ходим. Сели на зюд-зюд-вест от Кап-Вреде или Кап-Платена. Туман мешает точно определиться. В конце пробега снесло шасси. Сломаны два винта. Самолет годен только под морское шасси. Все здоровы. Запасы продовольствия на две недели. Считаю необходимым «Красину» срочно итти спасать Мальмгрена.

Чухновский".

Неужели Мальмгрен? Тот самый Мальмгрен, который, по всем наиболее оптимистическим предположениям, давно погиб во льдах. А, может быть, Чухновский ошибся? Может быть, речь идет об Амундсене со спутниками?

Но сомнения должны скоро разрешиться. Чухновский сообщает, что на нашем пути-пространства битого льда и даже промежутки чистой воды.

Первые пять часов хода мы довольно резко пробиваемся сквозь торосистый лед, в котором чернеют большие трещины и разводья. Если пойдет так и дальше, мы еще сегодня должны добраться до точки, указанной Чухновским. Но к пятнадцати часам дня наша резвость кончается. Тяжелые паки преграждают нам путь, и ход заметно падает. Снова начинается упорная битва со льдами.

Правда, толщина отдельных льдин не превышает двух метров, но вследствие большой их плотности, нагромождений и отсутствия трещин мы продвигаемся вперед с напряжением. Скорость нашего движения не превышает одного-двух корпусов в час, иногда корабль вовсе замирает на несколько минут. Весь корпус дергается от ударов по льду, винты молотят по глыбам.

Серая треуголка острова Карла XII почти не растет перед нами. Все, кто свободен, — на верхней палубе. Десятки биноклей устремлены на линию, соединяющую остров Карла XII с островом Брок. Там- обнаруженные Чухновским люди.

Снова зашуршали льды вокруг нас, снова задергался корпус. «Красин» возобновил свое движение к острову Карла. К часу 12 июля у нас на траверзе вырастают серые скалы Карла XII. Беспреданно ревя гудком и сиреной, мы ложимся на ост и обходим остров Карла XII с юга, держа курс как раз на середину прямой, соединяющей острова Карла XII и Брок.

Глаза начинают гореть от непрерывного глядения в бинокль, но никто не желает уходить с верхнего мостика. Перед воспаленными взорами один за другим вырастают с обоих бортов остроконечные торосы и люди, по три человека на каждом, чернеют со всех

сторон. Мы настолько привыкли теперь видеть перед собой миражи, что не верим своим глазам. Когда перед кем-нибудь появляется пресловутый торос, и люди с него начинают махать нам руками, видящий опускает бинокль, протирает глаза и снова наводит бинокль на ту же точку. Люди продолжают оставаться на месте, отчаянно призывая руками на помощь. Невольно вырывается крик:

— Вон, вон группа! Я ее вижу.

После того, как видящего группу заставляют перевести бинокль в противоположную сторону и также внимательно взглядеться в новую точку, он снова начинает видеть острый торос и сигнализирующих с него людей. Этот общий психоз доводит меня до того, что ухожу в лазарет.

Вахтенный начальник Борис Михайлович Бачманов ушел спать с совершенно красными, воспаленными глазами. Его место заступает массивный Август Дитрихович Брейнкопф- "Большой Август". Значит-четыре часа.

Август Дитрихович, заразившись общей горячкой искания, подходит к правому борту и солидно подносит к глазам бинокль. С этой минуты его массивная фигура не покидает нижнего мостика, где тишина только изредка нарушается поскрипыванием штурвала. За спиной у Брейнкопфа- на штурвалестарший рулевой Салин. Его черные от предохранительных очков глазницы неподвижно уставлены вперед. Точно он направляет корабль не по чуткой картушке компаса, а держит курс на одном ему видимую точку, притягивающую его к себе в этом безгоризонтном пейзаже ледяных полей.

Так проходит час. А впереди ничего нет. Закрадываются сомнения, верно ли было указание Чухновского? Не ошибся ли Алексеев в определении места виденной группы? Мы почти вплотную добрались

до указанной точки, а горизонт по-прежнему загроможден сплошными торосами, на которых не видно никаких признаков человека. Впрочем, как должен выглядеть человек в этих льдах? Никто из нас никогда в жизни не видел людей, затерянных в подобной пустыне.

Брейнкопф спокойно стоит с биноклем, покоящимся на его широкой груди. По обыкновению медленно поднимает он руку к черному цейссу, солидно подносит к глазам рогатые трубки. На минуту от отводит бинокль, всматривается в горизонт невооруженным глазом, затем снова подносит цейсс к глазам. Через минуту, не опуская бинокля, он меланхолично произносит:

— Мне кажется, я вижу людей.

В направлении его пальца я впиваюсь своим двенадцатикратным биноклем, пожертвованным мне на бедность из штурманских резервов Юрием Константиновичем. Хотя в нем двенадцать крат, но он отменно плох. От старости его линзы помутнели, как глаза моряка, всю жизнь глядевшего на море против соленого ветра. Какие-то неясные очертания острых белых вершин маячат в круглых окулярах, и я решаюсь принять за человека черную черточку, что торчит над одной из вершин. Слишком она непохожа на воображаемого мной Амундсена. Слишком неясны ее очертания по сравнению с миражами, десятки которых я видел сегодня.

Но Брейнкопф говорит:

— Да, это человек.

И именно потому, что сказал это Август Дитрихович, сказал это так же спокойно и флегматично, как обыденное вахтенное распоряжение, ему невозможно не поверить. Обернувшись к открытому окну рулевого, он спокойно приказывает:

— 12 градусов вправо.

И так же спокойно, точно дело идет не о цели всей экспедиции, а о том, чтобы обойти очередную встречную льдину, рулевой Салин налегает на штурвал. Не спеша поворачивается резное колесо, и послушная курсовая черта подходит к новому румбу картушки. Картушка долго колеблется, прежде чем застыть против жирной курсовой черты. Наконец, колебания затихают, и Салин, оторвавший черные глазницы от сверкающего медью компаса, бросает в окно:

— На румбе.

Сличив положение по верхнему компасу, Брейнкопф подтверждает:

— Так держать.

— Есть так держать.

Ровно семь часов 12 июля. Над острой вершиной тороса высится коренастая фигура человека, одетого в темно-зеленый, до черноты запачканный, полётный комбинезон. На голове кожаный черный шлем с поднятыми кверху наушниками. Лицо человека совершенно темно. Точно закопчено. Поднятыми руками человек плавно двигает слева направо и отчаянно машет в нашу сторону, как бы хочет сказать: "Не надо, не ходите".

Мне кажется, что это- сумасшедший, он не хочет нас видеть. Нет ничего удивительного. Если эта группа Мальмгрена- ей было от чего сойти с ума за сорок пять дней пребывания в такой обстановке. Впрочем, нет. Безумие здесь не при чем. Через минуту мне все понятно. Человек предупреждает нас, что его небольшой торос качается от приближения «Красина». До тороса нам остается полтора метра. Мы стопорим машины, опасаясь итти дальше, чтобы давлением льдов не опрокинуть небольшую льдину, на которой сидит группа.

Вокруг нас льды мягко шуршат по бортам. Воздух напоен только здесь на севере существующей тишиной.

Машины стали. Вдруг воздух пререзает громкий радостный крик:

— "Красин!" Товарищи!

Мы с изумлением переглядываемся: русский язык! Кто это может быть? Вероятнее всего, сам Мальмгрен! Мне где-то приходилось читать, что Мальмгрен занимался изучением русских трудов- значит, он знает русский язык. Это- Мальмгрен.

Еще не улеглось шуршание льдов вокруг нашего борта, а по развертывающемуся шторм-трапу уже скатываются на лед люди. Ноги скользят по неровным торосам, омытым всплеснутой нами водой. Я иду с большой осторожностью, так как льдины качаются при каждом шаге. Впереди Желудев, Кудзелько, Кабанов, Исаичев осторожно пробираются со стремянками и досками, из которых сооружают мостки через полыньи, отделяющие нас от тороса Мальмгрена.

Рослый бородатый человек с нетерпением топчется на льдине и приветственно машет рукой в нашу сторону. У его ног по-прежнему время от времени поднимается голова человека. Лица лежащего не видно. Третьего человека не видно совсем.

Но вот обледенелая стремянка переброшена через последнюю полынью, наши люди вошли на торос, и большой бородач, отталкивая людей устремляется к этим мосткам. Он что-то лепечет и знаками показывает что желает двигаться сам, что ему не нужна посторонняя помощь; он хочет скорей на корабль, но его не пускают. На торос приносят складные носилки, на которые кладут неподвижно лежащего на льду человека. Из широко-открытых голубых глаз лежащего катятся крупные слезы, застревая в круглой рыжей бороде. Лицо его так же темно, как лицо товарища, но радостная улыбка не сходит с его губ.

На коренастом здоровяке, который с нетерпением топчется у края тороса, надет прекрасный брезентовый

комбинезон. Брюки на рыжебородом от колена изорваны, в прорехи торчат голые колени, иссинекрасные. В большие дыры совершенно истрепанных, ключьями висящих носков торчат темные, местами почти черные пальцы.

Пока уносят рыжебородого, я лезу вокруг тороса в поисках за третьим человеком. Коренастый внимательно следит за мною глазами. По небольшому торосу разбросано скудное хозяйство группы. Изодранное розовое одеяло, несколько обрывков парусины, две каких-то жестянки и маленький походный топор. По склону тороса из совершенно почерневших затрепанных тряпок выложена крупная надпись:

PLEASE FOOD HELP

Льдина имеет всего десять метров в поперечнике. Больше здесь никого нет. Где же может быть третий? Влезаю на вершину тороса, и взгляд упирается прямо в лежащие против носа «Красина», в виде буквы «А», серые брезентовые брюки. Мое первое движение — броситься туда. Но что-то заставляет меня обернуться к коренастому. Его взгляд вопросительно уставлен на меня. Обращаюсь к нему по-немецки:

— Группа Мальмгрена?

Он молча кивает головой.

Ну, теперь все понятно. Тот самый Мальмгрен, которого официальные донесения Нобиле уже давно похоронили в полярной могиле, стоит передо мной. Уверенно, уставив указательный палец в грудь коренастого, говорю:

— Вы- Мальмгрен?

Но он отрицательно качает головой и на ломаном немецком языке произносит:

— Я- капитан Цаппи.

— А Мальмгрен?

Из сбивчивых его немецко-английских фраз я понимаю одно: Мальмгрен остался далеко на льду, Мальмгрен умер.

— Мальмгрен умер, нет Мальмгрена, Мальмгрен далеко. Здесь коменданты Мариано и Цаппи. Я хочу на корабль. Я хочу есть. Я тринадцать суток не ел...

Держась за плечи осторожно идущих по скользкой стремянке, переброшенной через полынью красинцами, капитан Цаппи идет к «Красину» над бортом которого свесилась решетчатая длинная рука под'емного крана, влекущая на борт носилки с торчащей из них головой Мариано.

\*\*\*

В залитой электричеством кают-компании, в глубоком бархатном кресле сидит Цаппи. Потемневшее от солнца и холода лицо его расплывается в улыбке. Из-под выгоревших усов и начинающейся у самого рта рыжеватой бороды блестят белые зубы. В опухших синих, точно налившихся от водянки, пальцах огромной руки тонет кофейная чашечка. Медленно, мелкими глотками отпивает он из нее черную жидкость. После каждого глотка недоумевающе взглядывает на окружающих, точно не верит тому, что он здесь, в теплой кают-компании, на твердой палубе закованного в железо корабля. Цаппи медленно, растягивая удовольствие, разжевывает небольшой бисквит, единственное, что разрешил ему дать доктор Средневский.

— Хочу еще. Ради бога, еще один бисквит!

Не дать- невозможно. Новый бисквит только хрустнул в огромных белых зубах. Замечательные зубы.

Такие зубы были, вероятно, у первобытных людей широкие, белые, крепкие, точно предназначенные для того, чтобы рвать мясо и дробить кости животных. Крошечный бисквит, исчезающий в этих зубах, анахронизм.

Цаппи медленно цедит слова на ломаном немецко-английском языке. Трудно восстановить из них связный рассказ.

Мариано уже находится во власти доктора Средневского. Антон Владимирович отдал все свое внимание больному Мариано. Мариано очень плох. Антон Владимирович говорит, что больше суток он не мог бы выдержать без медицинской помощи. Мариано не может произнести ни одного слова. Только текущие градом слезы говорят о его страдании, а грустная улыбка, не сходящая с лица, и мягкие движения горячей руки, которой он стремится все время погладить руку врача, — о радости возвращения к жизни. Пальцы ноги Мариано захвачены гангреной.

В лазарет входит Цаппи. Шаркая по палубе обмотанными в обрывки одеял ногами, он устало добирается до клеенчатого дивана и, сразу обмякнув, валится на него. Анатолик, как нянька, начинает его раздевать. Он стаскивает с ног его обрывки одеял, потом кожаные ботинки, потом две пары чулок. Очередь доходит до брюк. Когда Анатолик стаскивает верхнюю пару, под ней обнаруживается еще одна пара теплых брюк от комплекта полётного платья. Мы с изумлением смотрим на этот избыток одежды. Цаппи, отвернувшись, тычет пальцем в сторону только что снятой пары и цедит сквозь зубы:

— Мальмгрен.

Мы переглядываемся. Щукин невозмутимо продолжает стаскивать с Цаппи теплую куртку и белье. Из кармана куртки на черную клеенку дивана выкатывается потемневший медный кружок.

Карманный компас. Цаппи накрывает компас широкой распухшей ладонью и также, нехотя, цедит сквозь зубы:

— Мальмгрен.

Из снятых брюк Цаппи заботливо вытаскивает часы и сует под подушку. Он готов итти в ванну, но Щукин просит его предварительно снять вторую пару часов, надетую браслетом на левой руке. Цаппи молча снимает часы, сует их под подушку.

У меня в голове длинная очередь вопросов, язык уже ворочается во рту. Но доктор Средневский решительно прекращает поток моего любопытства:

— Если вы будете беспокоить больных, я выставлю вас из лазарета. Им нужен абсолютный покой.

## РАССКАЗ ЦАППИ

— Вы просили рассказать про наше путешествие. Хорошо, рассказывать будет Цаппи. Оставьте Мариано. Мариано — больной. Мариано не может говорить. Ему очень трудно. Рассказывать буду я.

Прошло много дней с тех пор, как «Италия» выбросила нас на лед. Мы пытались связаться с землей, но все наши зовы пропадали в эфире, — земля молчала. Мы не знали, почему: плохо ли работает наше радио, или мы просто не слышим земли, но ясно было одно, что с землей связи у нас нет, и мы не знаем: имеют ли люди там, на далекой земле, представление о нашем положении, о том, где мы находимся? У нас были больные. У генерала Нобилепереломаны ноги. Сломана нога у механика Чечиони, сломана левая рука у шведского профессора Мальмгрена. И у меня, Цаппи, сломано ребро. Вот здесь, дайте вашу руку. Видите эту выпуклость? Так срослось сломанное ребро. Все мы очень страдали и главным образом от того, что не знали, как дать о себе знать земле. Вот он, Мариано, предложил отправить на землю людей. В две-три недели люди могли дойти до западного Шпицбергена или, по крайней мере, до Норд-Капа, куда, несомненно, должны были выйти суда нам на помощь и, во всяком случае, пловучая база нашей экспедиции «Читта-ди-Милано». Я поддерживал предложение Мариано. С нами хотел итти радист Бьяджи. Но мы предпочитали иметь спутником офицера и предложили отправиться с нами капитану Вильери.

Однако, Мальмгрен, который уже прежде участвовал в арктических экспедициях, уверил нас, что без его помощи мы едва ли найдем дорогу к земле и едва ли справимся с препятствиями на своем пути. Но

Мальмгрен был болен. Он не мог идти со здоровыми, и генерал Нобиле, по-моему, сделал ошибку, все-таки назначив его руководителем нашей партии. Мариано был очень здоров. Я тоже был очень здоров. Больной не может быть начальником здоровых. Но все-таки мы пошли. Нам дали продовольствия на сорок пять суток. Расчет на очень голодную норму- всего триста грамм в сутки. На триста грамм не может жить большой здоровый человек. У нас был с собой только шоколад и пеммикан. Мы не могли даже варить себе из пеммикана похлебку, — не имели спирта, чтобы греть воду. Мы запивали пищу талой водой. С трудом мы продвигались к земле. С самого начала Мальмгрен шел очень плохо. По нескольку раз в день в бессилии он падал на лед. Ценою огромных усилий воли он поднимался на ноги и, скрежеща зубами, продолжал путь. Так не могло долго тянуться. Из-за Мальмгрена мы едва продвигались вперед.

Прошло две недели невероятно тяжелой борьбы с бесконечными льдами, преграждавшими нам путь. Под конец Мальмгрен уже должен был отдыхать перед каждым серьезным препятствием. Легкий мешок был для него непосильной тяжестью. Очень часто мне с Мариано приходилось ему помогать. Я вам говорю, что так не могло продолжаться. Нам казалось, что, идя таким образом, мы никогда не дойдем до земли.

Цаппи умолк и задумчиво уставился через иллюминатор на сверкающие льды, точно желая прочитать в них продолжение своего рассказа. Подумав, он повернулся ко мне, и мне показалось, что он взвешивает: что можно говорить мне и чего нельзя?

— Однажды мы встретились с большим нагромождением торосов у самого края полыньи. Мальмгрен бессильно опустился перед этим препятствием. Так лежал он целый час, не имея сил подняться. Мы с Мариано уже успели перебраться через

торос и через полынью, а Мальмгрен только еще поднялся и стал карабкаться на скользкую поверхность ледяного холма. Несколько раз он обрывался, скользил вниз, оставляя на снегу розовые пятна крови. Наконец он добрался до вершины тороса и стал спускаться в сторону полыньи. Мы с Мариано с беспокойством наблюдали: удастся ли ему перескочить полынью? Мы сами были слишком утомлены для того, чтобы притти на помощь Мальмгрону. Силы наши были истощены последним препятствием. Мы могли только наблюдать. И мы увидели, что у Мальмгрена недостаточно сил для того, чтобы справиться со спуском с тороса. Он бессильно скользнул по его крутому склону и полетел прямо в воду. Последним отчаянным усилием ему удалось выбросить свое тело на нашу сторону льдины, но ноги его все же оказались в воде.

В этот же день не могло быть и речи о том, чтобы двигаться дальше. Силы Мальмгрена были истощены. Он должен был отдохнуть. Но сам он все время твердил, что нужно во что бы то ни стало двигаться дальше, иначе без движения он отморозит себе ноги. Однако, он не мог даже встать. Мы постелили ему на лед одеяло, дали возможность спокойно уснуть. Спустя несколько часов он проснулся и сказал, что считает необходимым немедленно двигаться дальше. Как мне показалось, он бодро поднялся на ноги, но сейчас же со стоном опустился на лед.

Остановившимися глазами он смотрел куда-то в сторону и, наконец, почти весело сказал:

— Ну, друзья, моя песенка спета- ноги отморожены. Но через минуту, стиснув зубы, он все-таки поднялся на ноги. Заглушая стоны, вырывавшиеся у него при каждом шаге, он пошел впереди нас, ориентируясь по небольшому компасу, который всегда был у него в кармане.

С этого дня наши переходы делались все короче и короче. Во время отдыха Мальмгрен все дольше оставался неподвижным на льду. Мы должны были терять время около него. А вместе с временем уходят силы. Здесь, в этих ледяных пустынях, каждая минута даже полного бездействия требует сил. Мы не могли ограничить свое питание положенной нам нормой в триста грамм и с общего согласия увеличили порцию. Это ставило под вопрос, хватит ли нам продовольствия до конца пути, но Мальмгрен утверждал, что мы прошли уже половину пути. По его словам, скоро должны были начаться плотные паковые льды вблизи берегов Норд-Остланда. Однако на пути у нас вырастали все новые и новые торосы. Ровных плотных полей не было видно. Мальмгрен, вероятно, ошибался.

Вы не представляете себе, что значит медленно двигаться с больным человеком для здоровых людей, стремящихся к жизни. Мальмгрен переползал через торосы на четвереньках. Его руки и ноги были совершенно изранены. Пальцы на ногах совсем потемнели. Я кое-что понимаю в хирургии. Я знаю, что с такими ногами нельзя ходить, и если Мальмгрен еще шел- это были его последние шаги. Так и случилось.

На следующий день после ночлега он вовсе не мог подняться на ноги. Мы с нетерпением ждали, что будет дальше. Остаться с больным- значит отказаться от надежды когда-нибудь вернуться к земле, увидеть людей, жить.

Имеем ли мы на это право? Сзади остались наши товарищи, ждущие от нас помощи. Мы должны передать людям известие об их положении. Попытаться нести больного с собой? Но сможем ли мы это сделать? Хватит ли у нас на это сил, когда мы сами принуждены все чаще и чаще останавливаться для отдыха?

Лежа на льду, Мальмгрен нам сказал:

— Друзья, дальше идти я не могу. Для вас я- только обуза. Бросьте меня. Так делается во всех полярных путешествиях. Умиравший не должен мешать возвратиться к жизни имеющим надежду. Все равно я умру. Не сегоднязавтра начнется гангрена отмороженных ног. Мне осталось жить несколько дней. А не все ли равно от чего умереть: от холода, голода или от пламени гангрены? Я предпочитаю заснуть на льду, чтобы завтра уже не проснуться. Мужчина должен уметь умирать, и особенно мужчина, идущий в полярные льды. Если бы вы родились не под лазоревым небом Италии, а у нас, в Скандинавских горах, вы бы знали, что такое поход в Арктику, и не удивились бы тому, что человек, идущий в полярное плавание, возвращает обручальное кольцо своей жене. Мне уже ничего не надо. Возьмите мое продовольствие и теплое платье. Без них я вернее умру. Моя пища и платье облегчат вам дорогу к земле.

Я с изумлением смотрел на Мальмгрена, который добровольно обрекал себя смерти. Я ждал, что в эту минуту слезы брызнут у него из глаз. Но глаза его были сухи. Крупные слезы катились не по его лицу, а по лицу Мариано. Мариано был очень крепок телом, но он был нервен, как девушка. С такими нервами нужно сидеть в институте для благородных девиц.

Когда Мальмгрэн заговорил о том, что мы должны взять его продовольствие и платье, Мариано запротестовал. Мариано не понимал самых простых вещей. Для Мариано не существовала логика. А скажите, разве не прав был Мальмгрэн? Разве имели мы право оставить продовольствие умирающему и обречь на смерть себя, мы, на которых была возложена ответственность за жизнь товарищей, оставшихся на льду.

Я согласился с Мальмгреном, что предлагаемый им выход является единственно правильным.

— Хорошо, коллега, — сказал я. — Вы совершаете подвиг. Мы возьмем ваши продукты и ваше теплое платье. С ними дойдем мы к земле и передадим людям священную память о вашей поступке. Что вы имеете передать на землю вашим родным?

Мальмгрен отстегнул от пояса вот этот походный компас и протянул его мне:

— Этот компас служит мне давно. Его подарила мне мать, когда еще совсем молодым человеком я ушел в первый поход. Ей, моей старушке, верните его с приветом от ее маленького Финна. Скажите, что Финн, воспитанный ею, умер так, как должен был умереть ее сын.

Глядя куда-то в сторону, Мальмгрен холодно пожал мне руку. Это было сухое пожатие мужчины, дающего деловое поручение. Потом он обнял Мариано и просил его взять теплое платье. Но Мариано ревел, как девчонка, в мотал головой. Платье Мальмгрена взял я. Когда мы с Мариано собрались уходить, Мальмгрен остановил нас движением руки.

— Друзья, — сказал он, — еще одна последняя услуга. Вы уносите мое последнее оружие- топор. Вырубите этим топором длинную яму вот здесь на льду. В эту яму я лягу, чтобы умереть. Когда волна захлестнет мою ледяную могилу, я буду в ней замурован, и, может быть, какой-нибудь корабль найдет меня в этом прозрачном гробу.

Это было много даже для моих нервов. Чтобы разогнать мрачное настроение, я попробовал пошутить и сказал Мальмгрону:

— Вы будете лежать, как глазированный фрукт.

Но Мальмгрен не понял шутки и сделал нетерпеливый жест рукой.

Мы с Мариано работали целую ночь, чтобы вырубить крошечным топором длинную яму для Мальмгрена. Мы так устали, что пришлось лечь спать. Мальмгрен сейчас

же забрался в свою яму, отказавшись взять назад свое платье на те несколько часов, что нам осталось провести вместе. Засыпая, я слышал, как стучат его зубы. Но он не разбудил меня, и я решил, что мне это послышалось.

Мы проспали около двух часов. Когда мы встали, Мальмгрен открыл глаза и следил за нашими приготовлениями к походу. Мариано, встав на колени около ямы Мальмгрена, обнял его еще раз и надел ему на шею золотой образок. Я предпочел не отягощать последние минуты Мальмгрена и поторопил Мариано собираться в дорогу.

Мы пошли. Мальмгрен, вытянувшись, лежал без движения в своей ледяной яме. Дойдя до края льдины, я еще раз обернулся к нему, а Мариано сделал движение вернуться назад. Я схватил Мариано за руку, так как боялся проявления слабости со стороны этого нервного человека. Мальмгрен заметил движение Мариано и сделал знак рукой- «уходите».

Скоро я убедился, что, оставив Мальмгрена, мы поступили правильно. Дорога была перерезана такими острыми торосами, что он все равно не смог бы через них перебраться. Полыньи делались все шире и чаще. Мы продвигались с трудом. Мальмгрен связал бы нас по рукам и ногам. Все равно, рано или поздно, мы должны были бы его бросить, заставив напрасно промучиться еще несколько дней.

В первые сутки мы сумели пройти не больше полукилометра. Путь был слишком тяжел. Остановившись для отдыха, я взобрался на высокий торос, откуда мне было видно место нашей последней стоянки. На льду я разглядел темный силуэт тела Мальмгрена. Точно почувствовав, что я за ним наблюдаю, Мальмгрен поднял из ямы руку, и мне было видно, как он слабо скребет ногтями край своей могилы. Вот он приподнял голову и смотрит в мою

сторону. Я делаю приветственный знак рукой. Снизу с подножья тороса на меня вопросительно смотрит Мариано. Он говорит:

— Если Мальмгрен нас позовет, я не выдержу и пойду к нему обратно.

Но я не ответил этому шутнику. В этот момент Мальмгрен стал в своей яме на колени и, опираясь руками о ее край, опять поднимал правую руку "уходите".

Я спустился с тороса и не позволил туда подняться Мариано. Неизвестно, что можно ждать от человека, нервы которого оборвались.

Отдохнув несколько часов, мы двинулись дальше. Путь был тяжел. Нервный шок тряс Мариано. До сих пор он был физически самым сильным из нас, а теперь слабел у меня на глазах. Временами я замечал у него в глазах такое выражение, какого не должно быть у людей, идущих по полярному льду.

Так шли мы еще две недели. Мариано слабел день за днем. Под конец мне стоило большого труда заставлять его подниматься после ночлега, чтобы двигаться дальше. Но все-таки мы шли.

Порцию пришлось урезать, несмотря на то, что мы имели продовольствие Мальмгрена: слишком щедро мы питались сначала. Теперь у нас почти не осталось шоколада; один противный пеммикан. От употребления одного пеммикана, запиваемого холодной водой, у нас перестали работать желудки. Самочувствие становилось все хуже и хуже. По нашим расчетам мы были близко от земли. Серо-белые силуэты Шпицбергенских гор, благодаря значительной рефракции, видны были невооруженным глазом. Каждый день я осматривал в бинокль вершины видневшихся на горизонте гор. Вскоре я убедился, что наши расчеты неверны. Это- не берег Шпицбергена. Это были острова. По-моему, Фойн или Шюблер.

Однажды мы увидели над собой высоко в воздухе большой гидросамолет. Он шел со стороны земли в направлении на норд-ост. Мы даже не пытались ему сигнализировать- это было явно безнадежно. В то же время подошла к нам наша собственная гибель. Небольшая льдина, на которой мы ночевали, оторвалась от поля и оказалась отрезанной со всех сторон полыньями. Мы были заперты, как в мышеловке. Размер нашей льдины был невелик, всего метров двадцать в ширину и не больше тридцати метров в длину. По моим наблюдениям, нас дрейфовало на восток. Мы установили с Мариано вахту, чтобы не пропустить момент, когда наша льдина подойдет настолько близко к соседним льдам, чтобы можно было на них перейти. Но шли дни за днями, а льдина плыла одиноко, окруженная со всех сторон широкой каймой воды.

Мне кажется, теперь наше положение было хуже положения Мальмгрена. Он знал, что он умирает. Ему ничего другого не оставалось, а мы не хотели умирать. Во мне было достаточно сил, чтобы продолжать путь и борьбу за жизнь, но я был заперт на этом ледяном пятачке.

В один прекрасный день мы заметили, что почти по середине нашей льдины появилась трещина. Но прежде чем я успел поделиться своими опасениями с Мариано, льдина лопнула с треском, и Мариано, бывший на другой ее половине, стал быстро от меня удаляться. Из всех сил я ему закричал. Мариано проснулся и, увидев свое положение, немедленно сделал скачок в мою сторону. Но трещина успела расшириться настолько, что Мариано промахнул мимо льда и попал в воду. С большим трудом я помог Мариано выбраться на лед. У нас не было огня для того, чтобы просушить обувь Мариано. Он пытался просушить свою обувь, бегая до изнеможения по нашей льдине, сделавшейся теперь вдвое меньше. Теперь его ноги постигла та же участь,

какая постигла три недели назад ноги Мальмгрена- он их выкупал в воде.

Это происшествие окончательно надломило Мариано. Он терял силы с каждым днем и вскоре заявил мне, что не может стать на ноги- они отморожены. Это оказалось правдой. Пальцы его посинели и сильно распухли. Я ничего не говорил Мариано, но я кое-что понимаю в хирургии: ноги у Мариано не будет. Скоро его ноги потеряли всякую чувствительность. Тогда он размотал одеяло, заменявшее ему обувь, и отдал его мне со словами:

— Филиппо, вероятно, меня постигнет участь Мальмгрена, но вы не должны подвергать опасности свои ноги. Теперь вы остались одни из нас троих, могущих принести миру весть о погибающих товарищах. Берегите себя и в первую голову ноги, которые здесь, в этих льдах, так же ценны, как голова.

На этот раз в Мариано говорил здравый разум. Я взял обрывки его одеял и тщательно завернул себе ноги. С этих пор Мариано больше не вставал. В течение нескольких дней мы видели над собой еще четыре самолета. Один из них прошел над самой нашей головой, но нас не заметил. Мы кричали, махали тряпками, но все было напрасно. Нас никто не видел, хотя мы знали, что ищут именно нас.

Уже несколько дней мы питались только ледяной водой. Мариано лежал у подножия тороса. Вид у него был отвратительный. Я знал, что он очень страдает, но он не подавал виду.

После того, как ушел, не заметивши нас, последний самолет, Мариано сказал мне, что необходимо выложить на лед все, что возможно, для того, чтобы сделать нашу льдину заметней. Из кусков парусины я выложил на склоне тороса вот эту надпись: "Please food help". Кроме того, Мариано снял свои брюки и велел мне положить их углом на льду, по возможности дальше от

нашего тороса, так, чтобы они бросались в глаза летчикам, если те еще раз придут.

Наступило 10 июля. Я хорошо запомнил эту дату, потому что в этот именно день Мариано сказал мне, что у него нет больше сил даже садиться, чтобы пить воду. Под вечер в этот день мы еще раз услышали звук приближающегося самолета. Судя по гулу, это была многомоторная машина. Она шла со стороны открытого моря. В это время над нами расстилался густой туман. Скажу откровенно, что надежды на то, что нас заметит самолет в такой обстановке, у меня было мало, но все-таки я дал в руки Мариано флаг, а сам влез на вершину тороса. Когда машина была недалеко от нас, мы стали махать своими флагами, чтобы привлечь внимание летчиков.

Вы никогда не испытаете того, что я испытал, когда увидел, что над бортом самолета высовывается голова и сверху нам машут рукой. Все, что случилось потом, было гораздо реальней, чем этот молниеносный жест с самолета. Самолет поравнялся с нами и сделал над нашей головой несколько кругов. Я с нетерпением ждал, что вот-вот у крыла раскроется зонт парашюта и сверху к нам упадет долгожданная пища. Велико было наше отчаяние, когда этого не случилось, и машина, описав широкий круг, ушла, ничего нам не сбросив.

Мы решили, что на самолете не было продовольствия, но он ушел в Кингсбей за припасами. По нашим расчетам, дойти до Кингсбея и вернуться сюда самолету нужно было не больше семи-восьми часов. Мы стали отсчитывать минуты. Но прошли не только восемь часов, а трижды восемь часов. Самолета все не было. Волнение окончательно надломило Мариано. Он едва говорил. Когда я признался ему, что, вероятно, нам не следует надеяться на приход самолета, он притянул к себе мою голову и шопотом на ухо сказал:

— Филиппо, сегодня я умру. Не говорите «нет», вы этого не можете знать, а я это знаю. Мне нисколько не жалко, Филиппо, что я не увижу земли. Я считаю за честь для себя умереть так же, как умер Мальмгрен. Филиппо, Филиппо, мы не должны были брать у него последнюю пищу и платье, мы не должны были его покидать. Филиппо, то, что ждет нас теперь- это только то, что заслужено нами. Но что бы там ни было, вы должны приложить все усилия, чтобы дойти до людей. Вам, Филиппо, нужны силы. Я сегодня умру, и я обязываю вас приказом, как старший, разрезать мой труп, предварительно использовав кровь. Свежая кровь должна вас сильно подкрепить. А моего трупа вам хватит надолго. Быть может, еще и удастся вам добраться до твердой земли или вас подберут корабли, которых должны же выслать за нами. Я умру, Филиппо, и не мешайте мне умирать.

Мариано отвернулся от меня. Его разговоры о Мальмгрене были проявлением крайней нервозности. Но сейчас это было простительно. Для меня самого было ясно, что он умирает, и вряд ли протянет больше суток.

Я опустился на лед возле Мариано и заснул. Во сне мне слышался рев паровой сирены. Не знаю, было ли это кошмаром, напоминающим о безнадежно ушедшей жизни, или это было райским сном, переносившим меня из ужасной действительности в прекрасный мираж, но гудок повторился.

Мариано толкнул меня и едва слышно сказал:

— Филиппо, перед смертью я слышу гудок парохода. Мне кажется, это предзнаменование, что вас подберет пароход. Не пытайтесь уверить меня в том, что это не галлюцинация. Я еще настолько не потерял сознания, чтобы понимать, что в эти льды никакой пароход добраться не может.

Слушая Мариано, я сам способен был поверить тому, что гудок был только галлюцинацией. Однако, наполненную шорохом полярную тишину вновь прорезал басистый гудок парохода, сменившийся далеким завыванием сирены. Если бы вы могли себе представить, какой небесной музыкой показалось нам это дикое завывание.

О, сударь, нужно быть в том положении, в каком был я, чтобы понять чувство, которое я вкладываю теперь в слово «жизнь». Только человек, не видевший перед собою в течение 13 суток никакой другой пищи, кроме прозрачного льда, может сказать, что он действительно понимает вкус настоящего кофе. Сударь, скажите этому человеку, что я хочу есть. Больше я ждать не могу. Есть, понимаете, есть хочу. Много, много горячей пищи...

## ЗА ГРУППОЙ ВИЛЬЕРИ

На верхнем мостике «Красина» повторяется сейчас та же история, какую переживали мы, подходя к группе Мальмгрена. Публика с мостика видит со всех сторон целый лес радио-мачт и десятки палаток Вильери.

А льды нарастают навстречу нашему носу, торосы громоздятся один на другом. Тяжелые льдины с трудом расступаются перед острым форштевнем, дыбась голубыми боками и сердито стуча по железному борту. Туманные волны, затягивавшие до сих пор только горизонт, начинают накатываться на нас все ближе и ближе. Реже делаются прорывы в туманных валиках, хлопьями белой непрозрачной ваты закладывает все вокруг нас. В эти прорывы еще настойчивее ищем мы группу Вильери.

Я внимательно ищу ее вместе со всеми. И вот, наконец, на мутном белом фоне торосов я действительно вижу маленький конус палатки, рядом тоненькой спичкой возвышается радио-мачта. Я борюсь с искушением радостно поведать о своем открытии, но, наконец, уверенность в том, что это- не мираж, берет верх, и я кричу:

— Вот она, группа!

Почти одновременно с двух разных сторон раздаются такие же возгласы:

— Смотрите, группа!

Разочарованно отрываю бинокль от только что найденной мною палатки, перевожу его в указанных направлениях, — ничего нет. Возвращаюсь к своей точке и тоже не нахожу ничего. Тогда я вспоминаю, что за последние четверо суток я спал всего несколько часов. Но можно ли поддаться искушению и уйти в

теплую каюту, а вдруг появится настоящая группа. Этого момента пропустить нельзя.

Туман обдает нас влажным холодным дыханием. Туман здесь, на севере, совсем особенная штука. С его появлением высоко стоящее солнце прячется, и знобкий холод пронизывает вас до костей. Если в относительно холодный июльский день под лучами солнца еще можно ходить в одном свитере, то как только между солнцем и льдом толстой прослойкой ляжет туман, надо натягивать на себя что-нибудь поплотней. Несколько часов пребывания на верхнем мостике дают себя знать.

Наконец, я решаюсь прервать наблюдения и отправляюсь в лазарет перехватить стакан чая. С сегодняшнего дня я в лазарете только гость, койку я заранее обрел итальянцам группы Вильери.

Осторожно открываю дверь в лазарет. Прямо передо мной на затоптанной палубе мой купальный халат.

— Анатоликус, что это значит?

— Тсс... не разбудите... Из иллюминатора дует, и я накрыл Цаппи ноги. Ну, а он во сне сбросил его на палубу. Всякие люди приходили, начальство, вот и потоптали немножко. Да вы не беспокойтесь, я его выстираю.

Сердобольности Анатоликуса нет конца. В сердобольности своей он хватается решительно все, что попадает под руки, но он так добродушно смеется, что у меня не хватает сил сердиться на нелепые поступки моего друга.

Впрочем, Анатоликус старается загладить свой проступок стаканом горячего крепкого чая, который он мне предлагает распить с собственноручно им приготовленным бутербродом колоссальных размеров. Я знаю- ничем нельзя наказать его больше, нежели, взяв чай с бутербродом, уйти из каюты. Я отправляюсь в каюту к Петрову.

Это самая тихая каюта на корабле. Единственно, с кем любит беседовать Юрий Константинович, это цифры астрономического альманаха, белый шар звездного глобуса и целые груды рулонов огромных мореходных карт. Молчаливые собеседники. Однако в беседах с ними у Юрия Константиновича проходят дни и ночи напролет.

После долгих бесед с альманахом и глобусом, после многократных прикидок острыми ножками циркуля, Юрий Константинович на широком поле пестрящей промерами карты проводит уверенный штрих карандашом. Эта карандашная черная линия- курс «Красина» на завтрашний день. Сообразуясь с этой чертой, вахтенные начальники будут следить за верхним компасом, и при малейшем отклонении корабля от курса, предначертанного бессонной рукой Юрия Константиновича, между верхним мостиком и рулевой рубкой поднимется перекличка.

Сейчас мне не везет. Петров сворачивает карты и, вынув из футляра карманный хронометр, собирается бежать вверх, чтобы сделать сотую за сегодняшний день попытку определиться по солнцу. Я едва успеваю раскурить свою трубку заправкой душистого кэпстена, всегда имеющегося в запасе у Юрия Константиновича. Напялив старенькое демисезонное пальтецо, он убегает вверх.

На Петрова жалко смотреть, когда он гоняется за солнцем, играющим в прятки. Черною трубкой секстана ловит он игривое светило, не желающее попасть в окуляр прибора. И нужно быть Юрием Константиновичем для того, чтобы в густом туманном молоке все-таки умудриться отыскать солнце. Полчаса спустя мы знаем, что находимся как раз на том месте, где должна быть группа Вильери.

Должна быть, но от нее нет и следа. Еще с полчаса «Красин» молотит форштевнем лед в том же

направлении, пока не становится очевидно, что никакой группы в точке, указанной вчера в радиограмме «Читта-ди-Милано», нет.

У всех наблюдателей верхнего мостика скисшие лица. По адресу радио-любителя Добровольского сыплются самые нелестные выражения. Вот когда по-настоящему дает себя чувствовать отсутствие коротковолновой радио-станции. Мы не можем войти в прямую связь с группой Вильери и принуждены сношаться с ней через «Читта-ди-Милано». Пока на радио-рубке голубая искра передачи сменяется писками точек и тире в наушниках радиста, «Красин» замирает во льду. Стрелка телеграфа остановилась на «стоп».

Томительно тянутся минуты пока с «Читта-ди-Милано», успевшего снестись со льдиной Вильери, нам передают ее истинные координаты:  $80^{\circ}38,5$  сев. широты и  $29^{\circ} 30$  вост. долготы. За истекшие сутки группу успело снести на север, и она видит нас теперь к западу от себя. «Красин» ложится на новый курс.

Звенит телеграф, стрелка переходит на малый, затем на средний ход. «Красин» лезет на льдины, которые, как живые, сопротивляются его движению, сталкивают его нос обратно в темную воду. Стрелка телеграфа переходит на полный. Но не так просто лечь на новый курс в этих льдах. Уходит пятнадцать минут на то, чтобы курсовая черта стала против нового румба картушки. Но зато стоит нам лечь на этот новый курс, как прямо против носового флагштока, далеко в ледяных полях вырастает столб черного дыма, который волнистою струйкой стелется над белыми зубцами торосов. Это Вильери жжет дымовые шашки, чтобы обратить на себя наше внимание.

"Красин" оживает, точно конь, почуявший близость конюшни, и с новой энергией устремляется к струйке черного дыма. Никакие льды не могут теперь противостоять ударам нашего мощного носа.

А льды, поредевшие было, снова нарастают в огромные паки и груды торосов. Арктика делает последние усилия не пустить нас на выручку своих жертв. Эти пять человек, к которым мы почти подоברались, вот-вот должны ускользнуть из ее цепких рук. Ей, должно быть, обидно, что не зная в этих широтах сопротивления кораблей, которые осмелились бы лезть в эти льды, она вынуждена теперь выдавать своих пленников нашей закопченной железной коробке.

В бинокль я вижу теперь самый настоящий лагерь Вильери. Первым бросается в глаза беспомощно торчащий в небо хвостом самолет. Это «Фоккер» Лундборга. Правее- тонкая иголка радио-мачты, и рядом с ней- крошечный конус палатки.

Все затихло на верхнем мостике «Красина». Руки мои судорожно сжимают бинокль. Каждым нервом, каждой точкою мозга мы воспринимаем метры продвижения «Красина» к лагерю группы. На корабле тишина. Лишь с правого борта доносится рулада большого морского узла боцмана Кудзелько, первый раз в жизни отчаявшегося в том, что один он сможет проделать всю нужную работу. Приготавливается к спуску парадный трап.

(Окончание следует)

**В полярные льды за  
«Италией»  
(Окончание)**

## ЗА ГРУППОЙ ВИЛЬЕРИ

Расстояние сокращается быстро. Вот «Красина» от льдины Вильери отделяет только широкая полынья с несколькими мелкими торосами. Меня занимает вопрос: где знаменитая красная палатка, прославленная на весь мир? Почему вместо нее в центре льдины возвышается желтый полотняный конус с грязными разводами по бокам?

Но сейчас нет времени для догадок. Навстречу нам отделяется высокая фигура и размеренно, не спеша, движется к краю пака. На некотором расстоянии движутся двое других.

Высокий человек подходит к краю поля как раз в тот момент, когда «Красин», обивая белую кромку, врезается в пак. Человек поднимает правую руку и произносит всего одно слово, но оно звучит в наших ушах победным гимном: «Вильери».

С нашего борта с лязгом цепей опускается трап. Неудержимой лавиной бросаются люди на лед. Через десятки об'ятий проходит Вильери. За ним также размеренно, не спеша, точно давно ждали они самой обыденной встречи, подходят Бьехоунек, Трояни. И об их заросшие шершавые лица трутся десятки кочегарских носов.

В руке у меня безбожно прыгает «Кинамо», которой я пытаюсь запечатлеть встречу. В сторонке, обнявши за шею Валентина Суханова,<sup>[2]</sup> вприпрыжку, как подбитый скворец, идет Чечиони, опираясь на костыль, сделанный из весла.

Желтую палатку кольцом обступили красинцы. Ее полы слегка колышатся, точно кто-то сидит там внутри. Через минуту пола у входа резко откидывается, и из-под нее выскакивает маленькая коренастая фигура

радиста Бьяджи, который стремглав бежит к черному ящику передатчика около радиомачты. В руках его бланк радиограммы. Тонкие звуки передачи жалобно прорезают воздух, посылая в эфир последнее радио с исторической льдины. Рука Бьяджи твердо отбивает азбуку Морзе. И поющие ноты точек и тире слышны далеко кругом в воцарившемся мертвом молчании.

Сколько этих тоненьких звуков прослушали здесь за два месяца жизни на льдине члены экипажа «Италии»! Сколько надежд возлагалось на эти высокие ноты!

Последний звук передачи замирает. Бьяджи бросает ключ и быстрым движением отрывает провода от клеммов приемника.

Деятельно идет уборка лагеря группы. Спустя несколько минут, от радиостанции не остается и следа. Члены группы видимо задолго до нашего прихода готовились убраться с этих неудобных зимних квартир. Упакованные ящики и увязанные тюки разложены около палатки. С каждой ее стороны стоит по надутой пневматической лодочке с уложенным в них снаряжением и приготовленными веслами. Группа действительно была ежеминутно готова к окончательной гибели льдины, день ото дня уменьшавшейся в размерах и толщине.

Все пространство вокруг палатки засорено следами двухмесячной жизни людей. По затоптанной поверхности талого снега чернеют коробки от шоколада, консервные банки, жестянки бисквитов и десятки желтых соломенных футляров от винных бутылок. Кое-где из снега торчат оплетенные пузатые бутылки от Кьянти и глиняные сосуды спасительного "vov". [3]

Какая разница с тем, что мы застали на торосе Мариано. Люди здоровы и почти бодрь. Вопрос с питанием видимо обстоит более чем благополучно. Если

наша техника не сделала еще самолет способным садиться где и как попало, и если авиация не была в состоянии одним взмахом своих металлических крыльев спасти всю группу, то все же эти тюки с продовольствием, груды спальных мешков и бутылки Кьянти свидетельствуют о том, что даже попавшие в эти льды путники не могут считаться отрезанными от мира, если известно место их пребывания. Самолеты навезли им такое множество всякого продовольствия, что они считали себя вполне обеспеченными на три месяца полным пайком.

Пока идет погрузка, туман продолжает сгущаться. Я с трудом пробираюсь по льдине, проваливаясь выше колена в талую воду. Между тем местом, где была радиомачта, и тем, где стояла палатка, что-то чернеет в снегу. Судя по виду, — какой-то забытый прибор. Подхожу, нагибаюсь, действительно в снег ушел чёрный котелок<sup>[4]</sup> дирижабельного компаса, а рядом с ним черная колонка. Колонка оказывается... статуэткой Мадонны. Мадонна черного дерева понуро стоит рядом с компасом. Вероятно набожный Мариано воткнул ее здесь в снег для охраны драгоценного компаса. С тех пор, в течение двух месяцев несколько заботливых рук оберегали ее от падения на талом снегу и переносили с места на место вслед за палаткой. Сегодня Мадонна видимо сокрушается над черной неблагодарностью людей. Она честно сторожила целостность компаса два месяца, а ее забыли даже взять с собою, вместе со спальными мешками, резиновыми лодками и прочим барахлом.

Я не могу отказать себе в удовольствии зафиксировать эту честную Мадонну, сторожившую компас, на пленке «Кинамо». Бедная Мадонна, попав на советскую фильму, она приобретет теперь скверную славу в большевистской стране. Вероятно она

пожалееет, что благочестивый глава экспедиции не спустил ее на Северном полюсе вместе с черным дубовым крестом. Этот пресловутый дубовый крест, врученный Нобиле наместником св. Петра для водружения на полюсе, был по существу истинным виновником аварии «Италии», так как заставил ее потерять полтора драгоценных часа на операцию спуска креста на полюсе.

В нескольких сотнях метров от «красной» палатки должны находиться остатки гондолы. Утопая в проталинах, с трудом переправляясь через большие трещины, я добираюсь до края торосов, где между обрывистых ледяных стенок погребены жалкие остатки алюминиевых труб и груды приборов, — все, что осталось от командирской гондолы «Италии». Резко бросается в глаза, что приборы, бывшие по одному борту гондолы, разбиты вдребезги. Это- тот борт, которым гондола коснулась льда. На другом борту приборы целы. Многие из них Бьехоунк использовал для продолжения своей работы на льду. Алюминиевые трубы гондолы использованы для постройки радиомачты. По мере сил и возможности, пострадавшие использовали гондолу для оборудования лагеря. Остатки пойдут теперь на украшение музеев далекой Италии.

Пока я ходил к остаткам гондолы, льдину и «Красина» накрыла густая шапка тумана. Накатись этот туман часом раньше- спасение Вильери было бы отсрочено на неопределенно долгий срок. Едва ли можно было бы надеяться отыскать его в таком густом молоке. В молочной мути исчезла груды алюминиевых труб, потускнели флаги, разбросанные группой по льдине вокруг всего лагеря для привлечения внимания летчиков. Так вмерзшими в лед останутся флаги здесь до гибели льдины. Их унесет в открытое море или прильет к берегам замороженными во льду. Быть может

в холодных волнах океана столкнутся они с другою маленькой льдиной, в которой замурован под прозрачной корой труп Мальмгрена, и вместе будут продолжать путь, пока под давлением льдов не рассыплются на кусочки.

Сейчас эти флаги должны служить приблизительным указателем местонахождения последней группы Алессандрини, которая, по мнению итальянцев, должна быть отсюда не дальше, чем в тридцати-сорока километрах. Мы находимся на распутье: что делать с этой последней группой? Искать ее ледоколом - бессмысленно. Нужно потратить много недель, чтобы облазить этот район. Кроме того форсировать тяжелые льды кораблю уже не под силу - поломаны винт и руль. Едва ли мы можем исполнить только что полученную от Нобиле радиопросьбу:

"Красину". 12/VII. 23 часа 40 минут.

Я не знаю, что выразить вам в этот день, когда душа моя наполнена радостью от вашего замечательного, великодушного и удивительного поступка. Могу ли я вас просить сообщить мне, насколько возможно в ваших условиях направиться к востоку на 10-15 миль, чтобы исследовать местонахождение дирижабля, имеющего направление на восток от палатки. Я чувствую, что прошу слишком много, за что, я надеюсь, вы меня простите. Если вы действительно смогли бы это сделать, то исследование сейчас возможно в наилучших условиях, так как в дальнейшем будет трудно найти место палатки, когда там никого не будет. Я бы просил просмотреть сектор от 80 до 140 градусов компаса, центром которого является палатка, и от нее, как уже сказано, 10-15 миль. Во всяком случае еще раз глубочайшим образом благодарю вас от всего моего сердца.

Нобиле"

Нобиле мы ответили, что рациональнее было бы обследовать этот район итальянскими или шведскими самолетами, а нам, если группа будет обнаружена, идти ледоколом прямо к указанной точке. Спустя несколько часов нашей антенной был принят смертный приговор последним товарищам Нобиле:

"Итальянское правительство считает ненужным продолжать поиски и просит не отказывать доставить спасенных на «Читта-ди-Милано».

Итальянцам и карты в руки. Искать в беспредельном море льдов группу Алессандрини без помощи самолетов, без приблизительного хотя бы представления о ее нахождении - бессмысленно.

Отдан приказ готовить машину к походу. И 13-го снова завертелись винты. Расталкивая льды, «Красин» развернулся на месте, и провожаемая взорами высыпающих на верхний мостик спасенных членов группы Вильери льдина - их двухмесячное заточение, — отмеченная теперь лишь пятнами флагов, исчезает у нас за кормой.

\*\*\*

Под ярким светом электрических плафонов кают-компании пламенеет красная парадная скатерть. За торжественно-настороженным столом чешский профессор Франц Бьехоунек, капитан фрегата Альфредо Вильери, старший инженер-механик Филиппо Трояни и радист Бьяджи Джузеппе. В сторонке в мягком кресле лежит моторист Чечиони.

Кое у кого из них уже нет пушистых бород, с бородами расправилась бритва нашего доморощенного цырюльника-кочегара. Кое-кто успел даже постричься.

Только на высокий воротник пушистого белого свитера Вильери падают волнистые пряди светлых волос. Все, кроме Вильери, одеты в нескладные, не по мерке костюмы. У Бьяджи из рукавов едва торчат кончики пальцев, Трояни, как в широкий халат, завернулся в пиджак; у Бьехоунека широкая грудь торчит из разреза пиджака, не сходящегося на четверть аршина.

Искры плафонов играют в жидком золоте коньяка, и дым сигарет голубыми волнами течет к открытому люку. На жадные наши вопросы спасенные отвечают все сразу, залпом, — разноречивый гул.

Чечиони, грустно пуская густые клубы едкого дыма из трубки, воспроизводит картину последнего прилета Лундборга, хорошо запомнившуюся ему именно потому, что Лундборг прилетал за ним, большим Чечиони:

— После того, как улетел наш генерал, Лундборг должен был вернуться за мной, потому что, видите, у меня в двух местах сломана нога.

При этих словах Чечиони указал на огромное бревно забинтованной ноги, протянутой в соседнее кресло. По словам нашего доктора, вследствие неверно наложенной капитаном Цаппи повязки, кости срослись неправильно, их придется снова ломать.

— С понятным вам нетерпением я ждал возвращения Лундборга. Когда я услышал звук его мотора, меня не могли удержать в палатке: в чем был, я бросился на четвереньках, волоча по снегу бревно своей сломанной ноги. Но, к моему ужасу, летчик три раза подряд безуспешно пытался сесть, а в четвертый, вместо того, чтобы коснуться льда у начала площадки, как он делал это в предыдущий раз, сел на лед у самого ее конца. Трудно определить по времени те доли секунды, в которые мое сознание восприняло безнадежность положения Лундборга. Как сквозь туман, я увидел торчащий в небо хвост машины и слабое качание перевернутых лыж. Вместе с замершим

звук мотора все перевернулось в моем сознании, и я понял, что утрачена последняя надежда улететь с Лундборгом из этой ледяной тюрьмы. Не знаю, что было со мной, но говорят, что я грыз лед и кричал, как ребенок. Могу только сказать, что несколькими днями позже Лундборг переживал вероятно приблизительно то же, что переживал я в момент его неудачной посадки. Он без просыпа пил, и в припадке отчаяния хотел застрелиться. Я его понимаю даже в том случае, если у него не остались на родине жена и трое детишек, как у меня...

Чечиони провел рукой по седой голове, чтобы незаметно коснуться пальцами глаз.

Солнце 14 июля уже глядело в иллюминаторы кают-компаний, когда собеседники начали расходиться. Усталость валила меня с ног, но, видя, что профессор Бьехоунок набивает наново трубку, я набил свежей порцией табаку и свою и подсел к нему. Наше знакомство быстро завязалось. Бьехоунок охотнее всех остальных участников группы делится всем, что знает о приключениях группы, и не чуждается даже нас:-журналистов.

— Скажите, господин Бьехоунок, какого вы мнения относительно смерти Мальмгрена. Ведь вы кажется близко знали его.

Бьехоунок пыхнул трубкой и молча уставился в сияющий круг иллюминатора. Молчание тянется томительно долго. Наконец он поворачивается ко мне и, задумчиво водя пальцем по узору красных цветов на нашей парадной скатерти, говорит:

— Да, Мальмгрен был моим другом. Я знал его хорошо. Как грустно говорить «знал» про человека, образ которого так живо стоит передо мной. Финн Мальмгрен-джентльмен до мозга костей. И я не могу понять, как Мальмгрен, которого я знал близко, знал, как человека безукоризненной честности и большой

щепетильности, человека, который никогда бы не согласился поставить в ложное положение своих спутников, как мог он не дать Цаппи и Мариано никакой записки о том, что он остается на льду добровольно. Мальмгрену хорошо, слишком хорошо знакома история полярных открытий, все трагические инциденты, связанные с происшествиями, подобными тому, которое случилось и с ним. Мальмгрен хорошо знал, что в подобных обстоятельствах он обязан дать своим спутникам реабилитирующий их документ. Я отвергаю всякую мысль о том, что Мальмгрен мог это обстоятельство упустить из виду. По опыту десятков исследователей, Мальмгрен знал, с какими неприятностями морального свойства связано для его спутников появление в человеческом обществе без него и без каких бы то ни было документов, подтверждающих то, что он оставил их добровольно. И вот в таких условиях нам пред'являют в качестве документа карманный компас Мальмгрена. Я далек от мысли высказывать какие бы то ни было сомнения в словах капитана Цаппи. Слишком сурова природа Арктики и слишком многого требует от человека жизнь во льдах, чтобы можно было высказывать предположения о том, на что может решиться человек. И потом я не могу понять еще одного. Неужели путешествие могло настолько изменить Мальмгрена, чтобы он сделался способным нарушить данное мне слово. Уходя из лагеря, он взял у меня два письма и сказал мне: "Ваши письма, Франц, я доставлю на землю, даже если они будут единственным, что у меня хватит сил унести". Скажите, как может случиться, чтобы такой человек не передал Цаппи мои два письма? А ведь их у Цаппи нет..."

Бьехоунек не договорил. Он встал из-за стола и грустно направился к трапу на верхнюю палубу.

## **К ЧУХНОВСКОМУ НА ВЫРУЧКУ**

Ночь на 14 июля подходит к концу. Снова льды скрежещут о железные борта «Красина». Я хожу по кораблю- ищу места для ночевки. Все места в лазарете заняты спасенными. Но нет места даже в кочегарских кубриках. Электрический свет в санитарной каюте привлекает меня, и я иду навестить Анатоликуса.

Мой друг стоит, склонившись над изголовьем лежащего с открытыми глазами Цаппи. В руках у него тарелка, до краев наполненная сладко пахнущим компотом. У меня челюсти сводит судорогой от желания попробовать лакомое блюдо, но Анатоликус не обращает на меня никакого внимания. Он занят Цаппи. Как всегда, говоря с итальянцами, Анатоликус неимоверно коверкает русский язык. Он почему-то думает, что если слова исковеркать, — иностранцы легче поймут.

— Вот, товарищ Цаппи, хорошо компот. Очень хорошо компот.

Анатоликус закатывает глаза и причмокивает губами. Такому причмокиванию нельзя не поверить. Но смысл фразы видимо остается тайной для Цаппи. Единственное, что он понимает, это, что к нему, капитану Цаппи, какой-то санитар-большевик обратился со словом «товарищ». В чем был, Цаппи вскакивает с кровати. В первый момент у него спирает дыхание и застревают слова. Он подносит к носу Анатоликуса вспухший красный кулак. Наконец он шипит:

— Нет Цаппи товарищ... Цаппи есть офицер... Цаппи господин. Нет большевик...

Расплескивая компот, Щукин бросает тарелку на стол и выскакивает ко мне в коридор.

— Фьюйт, момент! Вон его из лазарета! Какой он мне господин. Я сам себе господин.

В порыве негодования Щукин забывает про своих больных и исчезает в каюте боцмана. Но проходит пять минут, и он появляется оттуда умиротворенный, с блестящими глазами. С порога он кричит мне:

— Орайтикус!

Раз Щукин кричит "орайтикус"- значит все в порядке. Щукин отходчив. Он уже придумал компромисс:

— Ладно, ну его к чорту. Он не товарищ, но и не господин. Идемте со мной, Николай Николаевич, помогите ему об'яснить.

Идем в лазарет. Цаппи лежит на койке, он злым взглядом встречает Анатоликуса. Но у Анатоликуса уже отлегло.

— Как ваше имя? — добродушно обращается он к Цаппи. Цаппи вопросительно смотрит.

— Ну, имя, понимаете. Вот я- Анатолий. Вот он- Николай, а вас как?

— А-а, Филиппо, Филиппо Цаппи, капитан дикорветта Филиппо Цаппи.

— Значит, Филипп.

Цаппи недоуменно кивает головой.

— А отца вашего как звали? Не понимаете? Ну, имя ваш отец, ваш папа, папус.

— Папус? Что есть папус?

— Ну, папус — это мой старик, вот такой- с бородой, а вы- его сын. Вот, если я Анатолий, а мой папус Иван, значит я Анатолий Иванович.

— Ага, понимаю, миа падре? Пьетро. Пьетро Цаппи. Дворянин и кавалер Пьетро Цаппи.

— Ну, вот и отлично, по-нашему Петр. И выходите вы Филипп, а по батюшке Петрович.

Щукин наставляет указательный палец на грудь Цаппи и убедительно повторяет несколько раз: Филипп

Петрович, Филипп Петрович.

— А я для вас больше не Щукин и не Сукин, а Анатолий Иванович.

Щукин полностью удовлетворен. С этого момента в отношениях Щукина с Цаппи устанавливается строгая корректность. Один из них с этих пор называется Филиппом Петровичем, а другой — Анной Ивановной. "Анатолий Иванович"- не под силу Цаппи, и он упростил это сложное имя до "Анны Ивановны". Но Анатоликус не в претензии. Детали его трогают мало. Ему важен принцип равенства с Цаппи.

Пока у Анатоликуса происходит препирательство с Цаппи, на верхней койке проснулся капитан Вильери. Как и все члены его группы, он совершенно здоров. Только по ночам его и Трояни треплет легкая лихорадка. Вильери протягивает руку и просит пить. Щукин дает ему большую эмалированную кружку с водой, подкрашенной клюквенным экстрактом. Но Вильери пренебрежительно отталкивает кружку и обращается ко мне:

— Скажите ему, чтобы дал мне стакан. Он всегда сует мне эту отвратительную кружку. Я не могу пить из железной посуды.

Вильери не может пить из эмалированной кружки. А ведь он провел два месяца на льду, где черпал талую воду ладонью со льдины, по которой ходил! Мне делается не по себе в лазарете и, воспользовавшись тем, что Щукин отправляется на поиски фаянсовой чашки для Вильери, я удираю в кают-компанию. Там я застаю странную картину. Взволнованный Жюдичи объясняет кому-то из корабельного начальства, что Цаппи крайне взволнован тем, что к нему в лазарет положили Чечиони. Чечиони- солдат. В Италии не принято, чтобы солдаты лежали в одном лазарете с офицерами. Чечиони можно перевести в какое-нибудь из матросских помещений.

— Позвольте, но ведь Чечиони же болен: у него сломана нога. В лазарете у него под рукой санитар и в любой момент врач. Жюдичи растерянно разводит руками:

— Ну, я не знаю. Меня просили вам передать, что офицерам, особенно Цаппи, присутствие Чечиони неприятно.

Наше начальство недоуменно пожимает плечами, и через десять минут Чечиони переводят в отдельную удобную каюту.

Вместе с Чечиони покидает лазарет и унтер-офицер Бьяджи, радист. Бьяджи не стал дожидаться, пока господа офицеры попросят его выселиться из лазарета, и удобно устроился на диване кают-компания, в углу, где отгородили ему занавеской.

Здесь у него, за занавеской, образовался с этого дня радиоклуб. Кабанов из «Комсомолки», Юдихин, Бакулин и Добровольский стали постоянными гостями этого угла. Целыми днями доносятся оттуда слова какого-то международного жаргона, на котором четыре человека, знающие в общей сложности не больше четырех иностранных слов, умудряются переговорить о тысяче интереснейших вещей.

\*\*\*

Итальянцы проявляют понятную нервность. С каждым днем, с каждым часом сокращается расстояние до пловучего кусочка Италии, ждущего их в бухте Кингсбея: «Читта-ди-Милано». Там ждут их друзья, родная речь и уверенность в возвращении к лазурным берегам Средиземного моря. Но продвигаемся мы отменно медленно. Большие пространства битого льда

сменяются тяжелыми паками. У берегов Норд-Остланда лед делается все крепче и крепче. Он значительно плотнее, меньше становится трещин и разводий. Вскоре он перейдет в береговой припай, с которым еще труднее будет бороться. Уже сейчас приходится прибегать к крайнему средству- перекачке цистерн.

Медленно, почти незаметно для глаза, на белом поле вырастают серые фестоны скал Кап-Вреде. Серыми зубцами легкого кружева ограждают они белую скатерть припая. В бинокль уже видны ровные террасы плато, гигантскими ступенями поднимающиеся от моря.

Около полудня мы входим в серую мглу, переходящую в снег. Огромными ватными хлопьями, точно в театре, валится снег на корабль. Из-за белой завесы не видно и Кап-Вреде. Но мы знаем, что за этим непроницаемым занавесом сидит у берега Чухновский с товарищами. Нужно к нему торопиться. Близок момент подвижки льдов, окружающих Вреде. Двинется лед-оторвется припай. Трудно предположить, чтобы Чухновский с людьми не успели укрыться на берег в случае даже внезапной подвижки льда. Но самолет, который стоит от берега на расстоянии полутора миль, погибнет наверняка.

Нужно спешить, но спешить невозможно. Мы врезаемся в тяжелый неподатливый лед, опирающийся на береговой припай.

Видимо, и Чухновского беспокоит участь машины. Одну за другой он шлет радиogramмы, с точнейшими инструкциями о подходе к нему. Настроение у Чухновского и его товарищей было вероятно не особенно плохим, так как телеграммы, интерпретированные Алексеевым, приходили к нам в таком виде, что вызывали гомерический хохот. Впрочем у них и не было особых оснований тужить. Запасы продовольствия они пополнили мясом двух оленей, убитых Страубе и Блувштейном, а недостаток соли,

который ими остро ощущался «Браганца» обещала пополнить при первой возможности. К сожалению «Браганца», как и следовало ожидать, подойти к Чухновскому не смогла. К вечеру 14-го мы добрались до полосы чистой воды. Радостно режет «Красин» темную гладь, от мягких об'ятий которой давно, отвыкли его железные бока. Чистую воду мы проскакиваем очень быстро, расстояние между нами и Вреде сокращается на глазах.

В ночь на 15-е снова воткнулись в лед. На нас валится снег, большими мокрыми хлопьями покрывая всю палубу, тая на одежде и лице. Струйки холодной воды бегут под воротник. От сплошного, без единой проталины, ровного льда тянет зимней стужей, горизонт заволакивает белая вуаль снегопада. Разве можно, не имея в кармане календаря, предположить, что сегодня ночь на 15 июля?

Руки стынут от постоянного держания у глаз бинокля. Но в мутные стекла моего Росса все равно ничего не видно. У серых скал Вреде никаких признаков самолета Чухновского. Но мы знаем, что за поворотом низкой каменной гряды должна находиться крошечная бухта Рипсбей, и в ней пять суток сидит Чухновский.

В кают-компании стало почти уютно. Ярко горят плафоны. Воздух напоен запахом дрянного норвежского табаку, кажущимся чрезвычайно вкусным после холодного промозглого воздуха палубы. В углу за занавеской у Бьяджи сегодня тишина. Маленький коренастый сержант задумчиво уставился в иллюминатор и машинально потирает заскорузлой рукою свой кудрявый, как у негра, затылок. Интересно знать, какие воспоминания шевелятся под крышкой этого затылка? Не думает ли он о том, что это-последний снегопад, который ему придется видеть в полярной области. Пройдет немного дней, и на борту «Читта-ди-Милано» он отправится в Нарвик, там сядет в

вагон, долженствующий доставить его в родную Италию. А в Италии нет ни мокрых снегопадов, ни непроглядных туманов, ни голых серо-белых скал, торчащих из ледяного моря.

Дым сигаретки застилает смуглое лицо Бьяджи. Сквозь эту голубую дымку он смотрит на последний полярный снегопад.

— Алло, синьор Бьяджи.

— А, синьор-корреспонденто. Какие новости?

— Ну, какие у нас новости! Вот вперлись в лед, через который никак не пролезем к Чухновскому.

— Скажите, а это не может грозить Чухновскому опасностью? Ведь льды так предательски непостоянны. Сегодня они тверды, как гранит, завтра- не надежнее легкого плота. Вы знаете, сколько раз нам пришлось менять стоянку нашей палатки?

Словоохотливый Бьяджи оживляется и, вырвав листок из моего блокнота, начинает что-то быстро чертить.

— Мы переносили палатку три раза. Посмотрите, вот здесь мы были 23 мая. 23 июня нам пришлось перетащиться отсюда. Здесь мы были до 8 июля, а 9 перетаскивали палатку на то место, где вы нас застали.

Бьяджи набрасывает схему переходов лагеря с места на место.

Волнистая линия этой схемы служит живым свидетелем тех сотрясений, которые испытывал в момент нашей беседы «Красин», борясь с тяжелым льдом. Эта борьба начала приобретать характер безнадежности. И когда после полудня за изгибом низкой каменистой гряды скал стал наконец виден распластаный на белом фоне самолет, стало ясно: нам до него не добраться. Лед берегового припая стоит между нами непреодолимым препятствием. Раз'еденная голубыми майнами белая поверхность совершенно не имеет характерных черных полосок трещин.

Около девятнадцати часов 15 июля «Красин» беспомощно замер в тяжелом паковом льду. Только сзади, за кормой, большим темным серпом изгибается наш след, направляясь к открытому морю. Но и он постепенно суживается и в нескольких милях от нас теряется в сдвинувшихся льдах.

Каждый раз, когда «Красин» неподвижно замирает во льдах, делаются слышными таинственные полярные шорохи, точно перешептывание могучих льдов.

А снизу, из кают-компания, под этот извечный полярный шопот доносятся звуки концерта струнного оркестра кочегаров. В последние дни кочегары охотно собираются в кают-компания и развлекают спасенных мотивами «Яблочка» и заунывных волжских песен. Эти концерты сделались настолько частыми и продолжительными, что мы, их постоянные слушатели, удираем от них на палубу. Сюда доносятся лишь слабые перезвоны гитары и свист водяного соловья.

В 20 ч. 30 мин. радист Юдихин и корреспондент «Комсомолки» Кабанов, набивши рюк-заки спиртом и теплыми пирожками, только что испеченными коком, спускаются на лыжах на лед. Они наши первые вестники Чухновскому. Две размашисто шагающие фигурки быстро исчезают вдаль. Кабанов оставляет далеко за собой неплохого лыжника Юдихина.

Проходит два томительных часа, прежде чем от черной точки самолета отделяется ниточка бусинок, начинающая передвигаться по направлению к нам. Извиваясь на белом снегу, эта ниточка приближается, растет у нас на глазах. Спустя полчаса мы видим, что эта волнующая цепочка состоит из десяти человек. Одни спокойно и размашисто двигают лыжами. Другие идут неуклюже, постоянно теряя лыжи и останавливаясь. Тогда останавливается вся цепочка и ждет, пока склонившаяся над потерянными лыжами фигура снова выпрямится.

Пять человек из этих десяти- чухновцы. Двое- Кабанов и Юдихин. Но кто могут быть трое остальных, — совершенно непонятно. Кого мог подцепить в пустынном Рипсбее Чухновский? На этот вопрос не может ответить никто на борту. Пока мы гадаем на пальцах и строим самые разнообразные предположения, к самому борту подходят пять черных кожаных фигур группы Чухновского. Между ними шныряют Юдихин и Кабанов, и замыкают шествие три спокойных серых фигуры, впряженные в большие нарты, горой нагруженные какими-то тюками. Эти незнакомцы оказываются лыжной партией «Браганцы», высланной к Чухновскому с запасами продовольствия и теплой одеждой: норвежцем Хельмаром Нойс и альпинистами-итальянцами Альбертини и Матеода.

На чухновцев жалко смотреть. Заросшие грязной щетиной лица изжелта-серы. Щеки ввалились, глаза- в больших синих кругах- кажутся большими. У Чухновского вид отвратительный. Сутулая фигура Блувштейна совсем сгорбилась. Острее торчит его длинный нос и большими лопухами смотрят в стороны из-под с'ехавшего на лоб шлема уши. Один только Алексеев, как всегда, жизнерадостен, и красное широкое лицо его не изменилось ни на иоту.

Десятки об'ятий и сотни нетерпеливых вопросов встречают Чухновского. Но Борис Григорьевич должен спешить в лазарет, где его с нетерпением ждут Мариано и Цаппи. По справедливости они первыми имеют право пожать руку Чухновскому. Мне это на-руку, в темном проходе под трапом мне удастся решительно преградить дорогу Чухновскому, и я настойчиво вымучиваю из него первый рассказ. Он лаконичен. — До острова Карла мы шли на высоте 50-100 метров, У островов Карла XII и Фойн мы обнаружили хорошую видимость. От этого места я новел самолет к Лей-Смит и далее- на остров Грет: Здесь я обнаружил,

что предполагавшееся местопребывание группы Вильери должно находиться посередине громадного пространства воды. Это было абсурдом. Пройдя десять миль к северу от острова Грет, я убедился, что благодаря подвижке льдов, район возможного местонахождения группы Вильери значительно увеличился. Видимость ухудшалась, надвигался туман. Когда выяснилась необходимость прервать розыски группы Вильери, я повел самолет обратно. Радио с «Красина» сообщало нам, что видимость вокруг ледокола возможна лишь в пределах трех миль. У нас в это время была более ясная видимость. Подходя к островам Фойн и Карла XII, мы встретили первую волну тумана. Итти на прежней высоте становилось невозможным. Пришлось спуститься до высоты в 50-100 метров. Но туман еще давал некоторую возможность наблюдения. Предполагая, что в районе этих двух островов может находиться группа Мальмгрена я взял несколько к северу от прямого пути к «Красину», намереваясь по возможности обследовать район между островами. Действительно несколько севернее от прямой линии, соединяющей острова Карла XII с островом Фойн, нами была обнаружена группа людей, над которой я сделал несколько кругов, чтобы возможно точно определить ее местонахождение и нанести этот пункт на карту.

Видимость была неважной. Мои спутники подтверждают, что им так же, как и мне, показалось, что на самом торосе находятся два человека, из которых один махал тряпкой, а на небольшом расстоянии от них было распластано что-то в виде большой буквы А, напоминающее силуэт лежащего навзничь с раскинутыми руками человека.

Обнаружив группу, я повел машину к «Красину». Когда мы должны были находиться на расстоянии одной мили от «Красина», туман сделался настолько

плотным, что нам не удалось обнаружить ледокола, и мы не могли отыскать аэродрома, несмотря на многократные попытки подойти к нему со всех сторон. При этом я шел так низко, что Алексееву пришлось вобрать антенну. Поэтому мы и потеряли с вами радиосвязь. Потеряв надежду найти корабль и израсходовав две трети горючего, я решил искать место посадки около берегов мыса Платен. Около мыса Вреде я сел на лед берегового припая. Однако поверхность казалась ровной лишь вследствие отсутствия резкого освещения, дающего тени. В конце пробега самолет наткнулся на ледяной порог, прикрытый сверху пологим покровом снега. Шасси самолета было повреждено именно этим порогом, но самолет по инерции прошел еще некоторое расстояние по льду и мягко осел в сторону. При этом оказались поврежденными винты боковых моторов и совершенно снесено лыжное шасси... Ну, не сердитесь, подробнее поговорим позже, а теперь спешу в лазарет.

За Чухновским закрылась стеклянная дверь санитарной каюты. За ней происходит единственная в своем роде встреча приговоренных к смерти Мариано и Цаппи с вынувшим их из смертной петли Чухновским. При таких встречах не должно быть свидетелей. Никто из нас не знает, что там произошло.

Спустя 15 минут Чухновский выходит от итальянцев и, отвернувшись от меня, быстро идет к себе в каюту. Я ухожу ловить Блувштейна, от которого на правах старого сожителя хочу выудить подробный рассказ о житейе группы на Кап-Вреде.

Проглотив несколько чашек горячего кофе, Блувштейн растянулся на полу в каюте врача, — его койка так же, как и моя, занята спасенными итальянцами. С видом умирающего, терзаемого назойливым духовником, он выдавливает из себя слова рассказа:

— Ну, что же, обстоятельства нашего полета вы знаете. Но бог судья тем, кто составлял для нас запас продовольствия. Правда запас был рассчитан на непродолжительный полет. На нас пятерых приходилось десять банок мясных консервов, десять банок консервированного молока, два кило масла, немного отвратительных галет и очень мало шоколада. И то, строго говоря, все это вовсе не предназначалось нам, а группе Вильери. Хороши бы мы были, если бы мы ее действительно нашли и сбросили ей эти запасы. На всех нас была дана одна винтовка и пятьдесят патронов. Наша кухня состояла из примуса, который, как выяснилось при первой же попытке его запустить, не работал. Само собою, имея на борту таких мастеров, как Алексеев и Шелагин, мы его починили, и в первый же вечер сварили себе ужин. Первый ужин состоял из мясных консервов, разогретых с растаянным снегом.

Вы помните ту бензинную лейку, которую вы набивали мне снегом перед стартом? Эта проклятая лейка оказалась не вылуженной, а освинцованной. К сожалению мы узнали об этом только поев из нее. Нам всем грозила неприятность легкого отравления, а никаких противоядий в нашем распоряжении не было. Пришлось тут же стравить на каждого по целой банке молока. Аптечку мы конечно как водится забыли на «Красине». К счастью, ни на ком из нас отравление не сказалось, кроме бедняги Шелагина, который так до самого конца нашего пребывания на Вреде и ходил, держась за живот.

Когда мы утолили первый голод, настроение у всех поднялось. Первым долгом мы проверили запасы нашего продовольствия и пришли к заключению, что при экономии их хватит дней на пять. Однако Страубе, порывшись в карманах, вытащил пачку червонцев и, прыгая на одной ноге, весело заявил: "Ну, ребята, тужить не приходится: мы обеспечены финансами на

целый месяц. Я не думаю, чтобы здесь, у медведей, цены были много выше норвежских. Десять червонцев-двести крон, по сорок крон на рыло. Не только прохарчимся, но пожалуй сумеем откупить у медведей и пару шкуренок.

Однако при ближайшем ознакомлении с окрестностями Вреде, оптимизм Страубе несколько погас. У медведей не оказалось не только магазинов, подобных норвежским, но даже самого плохонького кооператива. Нам пришлось отправиться в глубь полуострова в поисках пищи. Вся надежда теперь была на винтовку и десять обойм. Это было немного, особенно, если учесть наше искусство стрелять.

Берега Вреде поднимаются ровными террасами, обнаженными у подножий. Между отдельными мысами-глубокие впадины, занесенные толстым снежным покровом. Увязая по пояс в снегу, мы со Страубе пробирались по такому ущелью, — обоих нас назначили в первую охотничью партию по добыче дичи. Недалеко от берега мы заметили на сверкающем белом фоне серый силуэт зверя с большими рогами. Как полагается заправским охотникам, мы сразу распластались на снегу.

— Вилли, единорог, — таинственно прошептал Страубе.

Мы поползли на животах к этому единорогу. Зверь спокойно шел по ущелью, время от времени разрывая копытами снег.

Тут мне вспомнились романы Купера. Как настоящий следопыт, я послунил палец и поднял его над головой. Таким способом я определил направление ветра, чтобы подойти к животному с подветренной стороны. Бороздя снег своими телами, мы ползли по ущелью, стараясь производить как можно меньше шума. Скоро мы были от зверя на расстоянии действительного ружейного выстрела.

При ближайшем рассмотрении единорог оказался небольшим полярным оленем. Страубе выстрелил первым. Его пуля пробороздила по снегу длинную линию далеко сзади оленя. Олень, поднял голову и недоуменно повернулся в нашу сторону, но не убежал. Страубе выстрелил вторично. Бросок снега показал, что на этот раз — большой недолет. Олень закинул рога на спину и, высоко подбрасывая передние ноги, большими скачками стал убегать в глубину ущелья. Еще шесть раз выстрелил Страубе по убегающему зверю. И все с одинаковым успехом. Олень превратился теперь в настолько ненадежную мишень, что я уже не сомневался в том, что нашим пулям его не догнать. Но девятый выстрел Страубе оказался удачным — олень упал. С лихорадочной поспешностью бросились мы к лежащему зверю. Проваливаясь в снегу почти по, грудь, карабкались мы по неровному краю ущелья. Раненый олень тоже поднялся на ноги и, припадая на колени, стал карабкаться вверх по утесам. Настичь его у нас не было никакой надежды. Чтобы не упустить зверя, я выхватил винтовку у Страубе и, почти не делясь, выстрелил. Олень упал. Это было сделано мастерски, тем более, что этот патрон был предпоследним патроном из числа захваченных нами с собой. Теперь у нас остался один выстрел.

Как ни мал был олень, но добравшись наконец до него, мы поняли, что дотащить его до места стоянки самолета у нас нет никакой надежды. Страубе решил идти за помощью, а я должен был остаться на месте, чтобы защитить, убитого оленя от посягательств птиц и медведей. Для этой цели в моем распоряжении оставался один выстрел. Я думаю, что если бы в действительности появился медведь, то мне едва ли пришлось бы вступать с ним в единоборство с таким резервом огнестрельных припасов. Вероятнее всего, что мне пришлось бы просто-напросто позорно удирать.

Но, к счастью, медведя не было видно. Зато птицы не давали мне покоя. Они смело спускались к самому оленю и не хотели улетать, хотя я бил их прикладом. Они поднимались, начинали кружиться у меня над головой со злобными криками. Когда их становилось слишком много, меня брал страх, что в конце-концов не только оленя, но эти крылатые бандиты склюют и меня.

Несколько времени спустя мое внимание привлек силуэт второго оленя, появившийся в конце ущелья. Олень спокойно шел поперек впадины, в конце которой он остановился, и стал разрывать передними ногами снег. Действуя почти бессознательно, я поднял винтовку и выпустил в оленя мой единственный заряд.

Вы знаете мои способности в стрельбе, — кажется я уже имел случай проявить свое замечательное стрелковое искусство, но на этот раз я оказался настоящим Теллем. Вопреки всем моим ожиданиям, олень упал, уткнувшись рогатой головой в снег. Забыв про вверенного моему попечению первого оленя, я побежал к своему трофею. Но он оказался только раненым и приветствовал меня здоровенным ударом копыта в левую ногу. До сих пор я сгибаю ее с трудом. Я обозлился, и тут же проделал гнусную операцию добивания оленя финским ножом. Если бы вы знали, что это за гнусность. Но зато на мою долю достался трофей в виде пары вот этих прекрасных рогов.

Вскоре явились Шелагин с Чухновским и помогли нам ободрать оленьи туши и разрезать их на части. Как ни отвратителен был процесс свежевания туш, мы преодолели его, зная, что это обеспечивает нам запас свежего мяса на долгое время.

Когда мы ушли, сзади нас на снегу, закопошилась сплошная черная гора дерущихся и галдящих птиц, жадно раздирающих остатки оленей.

Все было бы хорошо, и вероятно мы могли бы не плохо питаться, если бы у нас была соль. Но банка с

солью, приготовленная для нас в полет, вероятно и до сих пор спокойно стоит в кладовой Долгополова. Мы попытались удовлетвориться супом из оленины, сваренным на талом снегу. Однако варево получилось настолько отвратительным, что никто из нас не смог его есть. Я никогда не предполагал, что пресный суп из свежей оленины может служить таким прекрасным животным средством. Джонни Страубе, как всегда, нашел выход- варить суп из морской воды. Тут же отправился он к первой попавшейся полынье и набрал там полную кастрюльку воды. Мы снова заправили в кастрюлю добрую дозу оленины и уютно у ourselves около пытящего примуса. Вот оленина уже посерела, скоро суп будет готов. Я запускаю в кастрюльку ложку, чтобы попробовать вкус супа, изготовленного из морской воды, я ничего не понимаю: соль в супе даже не ночевала.

Вода оказалась абсолютно пресной. Мы ничего не могли понять. Предположили, что Страубе зачерпнул воды не из сквозной полыньи, а из трещины, в которой течет талая вода. Померили трещину- она оказалась сквозной. Стали черпать воду и тут же пробовать. Вода была пресной, прекрасного вкуса. Что же делать? Нам нужна самая обыкновенная соленая морская вода. А ее нет в море.

Алексеев тут же устроил сложное какое-то приспособление для черпания воды на глубине. Пройдя больше двух метров в глубину, добрались мы этим приспособлением до действительно соленой воды. Наконец мы сварили себе третий суп из настоящей морской воды. Если вы захотите когда-нибудь узнать вкус этого супа, попросите Анатоликуса всыпать вам в тарелку бульона добрую ложку английской слабительной соли. Вы в точности получите вкус нашей похлебки. На наши желудки это гнусное варево не

оказало никакого действия. Впрочем, кроме Шелагина, у которого живот разболелся еще больше.

Однако вопрос с питанием был не таким острым, поскольку у нас не было за плечами длительной голодовки, и мы еще могли воздерживаться от частого питания оленьей похлебкой. Гораздо больше давала себя знать невозможность спать. Спальных мешков у нас не было. Я попробовал спать на снегу, но из этого ничего не вышло, — снег подо мной быстро растаял и я оказался в луже. Стали устраиваться на ночь в корпусе самолета. Брр... до сих пор дрожь пробирает при воспоминании о мертвящем холоде, излучаемом алюминиевыми стенками кабины. Чорт его знает, может быть с точки зрения конструктора и было целесообразно разгораживать самолет на крошечные отсеки, но о том, что в этих отсеках кому-нибудь придется спать, строители самолета не думали. Мне и Алексею при нашем росте пришлось спать вдвоем в кабине, в которой было бы коротко десятилетнему мальчику. Пол кабины выстроен с какими-то совершенно нелепыми уступами. Острые края этих уступов врезаются в тело, и нет никакой возможности пролежать на них больше десяти минут. Первые сутки мы не могли уснуть совсем, и я думаю, что в общей сложности мы не проспали за все пять суток жизни на Кап-Вреде больше пяти часов. Но сетовать не приходилось, Чухновский совершенно правильно послал вам радиogramму о необходимости итти в первую голову к группе Мальмгрена. Этим мы добровольно обрекли себя на все неприятности, которые пришлось испытать.

Прошло трое суток, когда впервые увидели мы вестников внешнего мирасамолеты. Со стороны Кингсбея на значительной высоте шли три машины. Мы не стали выкладывать никаких сигналов, так как наш самолет служил наилучшим сигналом сам по себе. На

крыльях летящих машин мы разглядели три черных короны. Это были шведы. Они прошли, не заметив нас.

Спустя некоторое время снова слышались звуки моторов, и самолеты показались с обратной стороны. Проходя над нами, одна из машин завернула, сделала несколько качаний с крыла на крыло и описала над нами два круга. Этим пилот хотел показать, что он нас заметил. И действительно вскоре мы узнали по радио, что «Браганца» пытается пробраться к нам.

Кстати о радио. Мы принялись налаживать его немедленно после посадки, и спустя два часа с нашей импровизированной антенны, натянутой на моем кинематографическом штативе, уже неслись в пространство радиоволны. Алексеев был у нас в особенном почете. Мы за ним ухаживали, освободили от всех работ, кроме обслуживания радио. Благодаря его радиоусилиям, мы все время были в курсе событий, даже коротали наши более чем долгие досуги слушанием лондонских фокстротов.

Спустя пять суток на горизонте со стороны моря мы увидели движущуюся точку. По мере приближения эта точка распалась на три. К нам шли три человека. Это оказались Нойс, Матеода и Альбертини, приволокшие нам большие нарты с запасом прекрасных теплых вещей и разных вкуснейших яств, посланных «Браганцей». Беднягам пришлось проделать крюк в тридцать лишних километров из-за того, что они напоролась на след, оставленный «Красиным». Пришлось его обходить. Уж и ругались же они. Но нам так и не пришлось воспользоваться нартами Нойса, так как всего через два часа после прихода людей с «Браганцы» к нам подошли Юдихин и Кабанов. Вперемежку с шоколадом Нойса мы поели красинских пирожков и с удовольствием выпили по чарке доброго советского спирта. Через час мы уже подгрребали к вам.

Ну вот по существу и все наше житье-бытье. А что нового у вас?

Я принялся было живописать Блувштейну события исторических дней 11 и 12 июля, но через минуту заметил, что он блаженно посапывает, крепко зажав в кулаке конец мохнатого трофейного рога. Усталость взяла свое, и он заснул, даже не успев раздеться и помыться, — прямо на полу в каюте врача.

## КИНГСБЕЙ

19 июля. Сегодня мы входим в Кингсбей. «Красин» внешне притих. Только где-то внутри по каютам идет необычная суэта. По существу сегодня финал первого этапа нашего похода. Сегодня мы должны пересадить на «Читта-ди-Милано» спасенных. Сегодня мы должны расстаться со своими живыми трофеями. Момент несомненно торжественный.

"Красин" режет зеркально-гладкую воду бухты Кингсбея. Она ярко сверкает под лучами высокого солнца. Ни единой льдинки. Далеко впереди, в самом углу Кингсбейской бухты, голубеют обрывы двух глетчеров.

С нетерпением ищу биноклем по берегам город Нью-Олесунд, второй по величине населенный пункт Шпицбергена, резиденцию сусельмана.<sup>[5]</sup> Вероятно сейчас за каким-нибудь поворотом должны появиться ряды кораблей у длинного мола, и амфитеатром раскинется город на склоне горы.

Однако мы все бежим и бежим по бухте Кингсбея. Подходим к концу. Вот уже глетчеры выросли в высокие стены, а Нью-Олесунда до сих пор нет. Только группа каких-то небольших сереньких сараев ютится на прибрежной долинке у склонов высокой серой горы. За этими сараями огромною кучей чернеют штабеля угля. От штабелей к высокой бревенчатой эстокаде у самого берега бегают крошечные паровозики, таскающие за собой вереницы угольных вагонеток. Паровоз подтаскивает их к самому концу эстокады над морем. Вздывая кучу угольной пили, с грохотом сыплется уголь из вагонеток прямо в трюм угольщика, стоящего под эстокадой. Черны паровозы и вагонетки, черна

эстокада, черен до кончика мачт большой угольщик. И название у угольщика тоже черное: «Svartisen».

За кучей сараев- огромное решетчатое строение без крыши. Это исторический эллинг, служивший пристанищем дирижаблям: «Норвегия» и «Италия». Присутствие эллинга говорит о том, что где-то поблизости должен быть и город Нью-Олесунд. Но вот уже застопорены наши машины, отгремела якорная цепь, а так ничего и не видно. На мостик является Хуль. Хитрый старик: у него не только воротничок сверкает белизной, а из-под пиджака глядит белоснежная сорочка. Откуда мог он ее взять? Вероятнее всего берег в чемодане от самого Бергена.

Широким жестом Хуль указывает по направлению к серым сараям:

— Ну, вот и приехали.

— А как далеко от берега город?

— Да вы же видите, — у самого берега.

— Но я не вижу ничего.

— То есть как ничего? А вот эти постройки? Это же и есть город Нью-Олесунд.

Хуль говорит это таким тоном, точно я не хочу признавать права за название городом за двумя десятками построек в несколько этажей, блестящих камнем и высокими крышами. Эти сараи и есть город Нью-Олесунд? Чорт знает что! Стоило беспокоиться о чистой рубашке!

Но никаких оснований не верить милейшему Хулю нет. Если он говорит, вероятно это и есть столица Шпицбергена- Нью-Олесунд, развернувший свою панораму из двадцати крошечных домиков над сверкающим гладким простором бухты Кингсбея. Чудесная бухта подавляет своим зеркальный простором. Совсем небольшим кажется стоящий невдалеке от берега темно-серый, точно прокопченный «Читта-ди-Милано», вовсе теряются транспорты

шведских спасательных экспедиций «Таниа» и «Крест». Бухта настолько глубока, что суда средней осадки подходят почти к самому берегу.

В городе ровно двадцать домов, в которых живет двести семьдесят рабочих и служащих Норвежской угольной компании, в том числе двадцать дам. Копи компании расположены непосредственно у самого города, при чем шахты выходят на поверхность под углом в 25 градусов. По существу весь город Нью-Олесунд принадлежит этой угольной компании.

На другой стороне бухты Кингсбея в хороший бинокль можно различить девять серых срубов. Эти девять избышек с заколоченными окнами представляют собою также город. Это- Нью-Лондон, владение основавшейся здесь когда-то английской компании по добыче мрамора. История этой компании весьма интересна. Обнаруженные здесь богатые залежи мрамора привлекли к себе внимание англичан, принявшихся эксплуатировать недра. Однако, несмотря на внешнюю выгодность пластов, мрамор в них оказался чрезвычайно рыхлым. Его немыслимо было извлечь на поверхность сколько-нибудь значительными кусками. Разработка оказалась невыгодной. Компания лопнула, и город Нью-Лондон служит теперь пристанищем всего двум охотникам.

\*\*\*

"Красин" застыл в середине между этими двумя «городами». По направлению к нам от «Читта-ди-Милано» бежит маленький моторный катер, сверкающий свежую краской и медью начищенных частей. Широко расставив ноги, стоит на корме плотный

пожилой офицер в блистающих галунами фуражке и кителе. Соблюдая этикет, катер кружится около «Красина», не подходя к борту. Однако у нас не очень гонятся за помпой встречи, трапы не спущены, капитан Романья наконец не выдерживает и, сложивши рупором руки, кричит стоящему у нас на борту, выдающемуся головой выше всех, итальянцу:

— Вильери.

Из груди Вильери вырывается несвязный радостный крик, и кажется вот-вот прыгнет он за борт на катер родного «Милана». Вся официальная помпезность встречи пошла насмарку. Большой катер с «Читта-ди-Милано» принимает спасенных. Они сходят по парадному трапу, как драгоценная ноша, принимаемые десятками протянутых рук итальянских матросов. Та же дружески-ласковая рука спускает через борт носилки Мариано. С радостной улыбкой машет он нам рукой из колышащейся люльки.

Окончательно нарушая тихую торжественность момента, раздаётся всплеск воды за нашим бортом, это- немецкий оператор, под'ехавший к нам из Кингсбея, увлекшись с'емкой Мариано, вместе со своим аппаратом кубарем слетел с нашего высокого борта в воду. Матросы баграми выудили его из воды. Мокрый, с зеленым лицом появился он на поверхность с крепко прижатым к груди штативом своего аппарата.

Одни за другими прибывают к нам на борт официальные визитеры с «Читта-ди-Милано» и других кораблей. Первыми приехали приветствовать Чухновского итальянские летчики во главе с Маддаленой и шведские- во главе с Торнбергом.

\*\*\*

Оттого, что все мы сознаем трудности условий, в которых остается Чухновский, расставание с ним особенно грустно. Кто знает, как скоро удастся вернуться сюда «Красину» после ремонта в Ставангере? Как сложатся условия дальнейшей работы?

Крепко жму руки по очереди всем членам летной группы, прежде чем сесть в маленькую шлюпку и отправиться к «Красину». Вот я сижу в моей уютной лодченке, и здоровяк Алексеев с размаху сталкивает меня с прибрежной гальки в воду. Принимаюсь грести. Весла то и дело стучаются о встречные льдины. Приходится спешить с возвращением на корабль, так как шапка густого тумана постепенно закрывает всю бухту. Ватные волны бегут на середине уровня окружающих бухту серых гор и задевают мачты «Красина». Туман делается все гуще, и к тому моменту, когда я выбираюсь из узкого горла бухты Чухновского, «Красина» не видно. Исчезает в тумане и стоянка Чухновского. Я оказываюсь в сплошном молоке.

Гребу наугад, следя лишь за тем, чтобы не врезаться в какую-нибудь большую льдину. Мне кажется, что путь к «Красину» значительно дольше, нежели путь, проделанный от него. Или часы мои бегут невероятно быстро, или с момента моего отплытия от палатки Чухновского прошло уже 2 1/2 часа. «Красина» все нет. Ясно, что я промахнул мимо него или кружусь около. Чтобы не угодить в открытое море, надо держать по возможности хотя бы на серые прибрежные скалы. Туман рассеется, и тогда я вернусь на корабль, переждав на берегу.

За носом моей шлюпки в прорывы тумана мелькают серые скалы. Я терпеливо гребу. Скалы растут очень медленно, и проходит почти полтора часа, прежде чем я приближаюсь к затянутому туманом скалистому

берегу. Наконец дно лодки шуршит по гальке, и я выскакиваю на каменистый берег.

Но вот туман начинает рассеиваться, а разобрать, где я нахожусь, невозможно. Терпеливо усаживаюсь на бережку с намерением набить трубку, но, о ужас, — я потерял ее или забыл у Чухновского. От нечего делать брожу по берегу. Галька шуршит под ногами.

Меня начинает занимать вопрос- где же я собственно нахожусь? Но я не рискую далеко уходить от своей шлюпки, а туман расходуется очень медленно. Лишь около полуночи волны тумана поднимаются к вершинам окружающих бухту гор, и к удивлению своему я вижу, что сижу под высоким обрывом, невдалеке от поселка. Но поселок ничего общего не имеет с Нью-Олесундом. От грубых срубов веет запустением, и кругом царит мертвая тишина. Это- Нью-Лондон.

Неожиданно мое внимание привлекает звук бойкой песни, доносящейся откуда-то сверху. Высоко на скале, над обрывом, болтая в воздухе ногами, сидят двое молодых альпинистов. Один за другим скатывают они в море валуны и с любопытством наблюдают за большими кругами, расходящимися по воде от упавших камней.

Я их окликнул:

— Алло, комрады, где ваш капитан Сорра?

— А, бон-джиорно, синьор Крассин руссо.

Молодые стрелки сами со скоростью валунов скатываются с обрыва следом за камнем и вприпрыжку идут впереди, провожая меня к крошечному домику, сколоченному из толстых, посеревших от времени бревен. Окна забиты досками. Дом имеет вид нежилого. Что могло занести сюда Сорра, имеющего в Нью-Олесунде собственный домик, известный под именем домика Нобиле и находящийся у самой стены исторического эллинга «Италии».

На крылечке серой избушки сидит сам капитан Сорра. Я познакомился с ним на «Читта-ди-Милано». Меня очаровал этот маленький смуглый горец, у которого так мало общего с фанфаронами-офицерами «Читта-ди-Милано» и теми членами экипажа «Италии», которых мне довелось знать. Серый короткий мундир плотно облегает его широкую грудь. Серая фетровая шляпа с петушиным пером лихо сдвинута на правое ухо. От загорелого сухого лица веет здоровьем, закаленным суровыми ледяными ветрами.

— А, господин Шпанов, я очень рад вас видеть, — бойко заговорил Сорра. Кто вам сказал, что я здесь? Вы были у меня в Нью-Олесунде?

— Никто не говорил. Попал я сюда только из-за тумана.

— Какая счастливая случайность. А я забрался сюда со своими стрелками сегодня с самого утра. Здесь чудесно. Молодежи нужна тренировка, и я потащил их с собой вокруг всей бухты Кингсбея. Моцион не плохой, поверьте мне. Пройдемся с нами немного.

Шагаем с Сорра по шуршащей, катящейся под ногами гальке. Вот сырая прибрежная галька сменилась гладкими скалами. У обрыва над морем, с трубкой в зубах, я наслаждался простым рассказом Сорра о его похождениях. В голосе этого маленького горца-нескрываемое презрение к людям, не сумевшим справиться со льдом, к людям, для которых лыжи представляют собою нечто более сложное, чем простые сапоги. Недаром у него на «Читта-ди-Милано» в каюте, в углу около вешалки, стоят зеленые узкие лыжи- три пары. Столько же, сколько в каюте у Вильери стоит элегантных ботинок.

Докурив сигаретку до самого золотого мундштучка, он воткнул ее в шипящий снег и начал рассказ о своем походе к острову Фойн за Мальмгренем.

— На этот раз моими спутниками были голландец Ван-Донген и датчанин Ворминг. «Браганца» довезла нас до пролива Беверли-Зунд. Дальше к востоку лед стоял непреодолимой преградой. Полярная весна запоздала; «Браганце» пришлось спасовать. 18 июня мы сошли на берег Беверли-Зунда, имея с собой продовольствия на 4 дня. Снаряжение наше состояло из лыж, рюк-заков и спальных мешков. Для упряжки у нас было 9 собак с одной нартой. Наш путь лежал на северо-восток, и первый день прошел вполне благополучно.

На следующий день, когда мы приближались к Кап-Платену, Ворминг почувствовал себя не совсем хорошо. Его глаза не выдержали действия ослепительного полярного солнца, и он заболел куриной слепотой. Дальше итти Ворминг не мог. Возвращаться с ним на «Браганцу» мы тоже не могли: у нас не было времени, потому что там впереди блуждали во льдах люди, беспомощные, как дети, которых нужно было вывести к земле. На Кап-Платене мы оставили Ворминга, снабдив его продовольствием на весь обратный путь до «Браганцы». Ему нужно было только отлежаться на месте с завязанными глазами, и потом потихоньку он свободно мог итти один к «Браганце».

Я знал, что где-то в этом же районе бродит лыжная партия- норвежцы Нойс и Танберг, к которым присоединились двое моих альпинистов Матеода и Альбертини. На всякий случай, в том месте, где мы покинули Ворминга, я оставил записку на имя Нойса о том, что один из нас заболел и идёт в одиночку обратно. Такую же записку я оставил на следующем этапе. Но, как оказывается, я впопыхах, во второй записке вместо Ворминга упомянул имя Ван-Донгена. Норвежцы нашли эту записку. А позже они нашли записку, которую оставил на своем пути, возвращаясь к «Браганце», сам Ворминг. Таким образом, у Нойса создалось

впечатление, что оба моих спутника заболели, и что я иду на север один. Вот почему они и сообщили на «Браганцу» о том, что я один продвигаюсь на Фойн.

Мои надежды на Ворминга оправдались. Север приучает людей не быть детьми. Оправившись в своей снежной берлоге на Кап-Платене, Ворминг перебрался к Норд-Капу и оттуда к Беверли-Зунду, где стояла «Браганца». Мы же с Ван-Донгеном продолжали свой путь во льдах. Никогда не верьте тому, кто будет вас уверять, что собаки самый надежный способ для передвижения нарт. В торосистых льдах они никуда не годятся. Правда мы с Ван-Донгеном были совсем налегке, но то и дело нам приходилось возиться с собаками, помогая им перебираться через полыньи и торосы. Но не верьте и тем, кто говорит, что они могут путешествовать без собак. Здесь правы норвежцы, которые ни шагу не делают без собачьей упряжки. Собака не только тащит ваш груз, она может спасти и вас самого. Мы вместе с Ван-Донгеном шли в этот день впереди нарт, прокладывая лыжницу для упряжки. Это было неправильно. Один должен всегда идти сзади. Но как бы то ни было, на этот раз на полном ходу мы оба попали на тонкий лед, едва прикрывающий поверхность широкого разводья на заливе вблизи мыса Вреде. Лед нас не выдержал, оба мы провалились, и если бы не собаки, которые выбиваясь из сил тащили по кромке надежного льда наши нарты, мы бы неизбежно погибли. Только схватившись за упряжку, мы вылезли на лед вместе с Ван-Донгеном.

Покрытые коркой льда, мы бежали до полного истощения, чтобы дать просохнуть белью и не простудиться. На своем пути мы подробно осмотрели острова Шублер и Брок, но нигде не нашли следов Мальмгрена. С Брока мы видели, что начинается сильная подвижка льда. Разводья делаются все шире, и нужно было торопиться, чтобы добраться до Фойна.

Дело было рискованным. Льдины лезли одна на другую, нам предстоял тяжелый переход.

Я решил итти во что бы то ни стало, но мне не хотелось подвергать опасности молодого Ван-Донгена. Однако он и слышать не хотел о том, чтобы итти к берегу Норд-Остенда и ждать меня там. Во что бы то ни стало он хотел лезть со мной в это рискованное предприятие. Я сохраню самые лучшие воспоминания об этом моем спутнике. Молодой, смуглый, как мулат, крепкий, как истый спартанец, Ван-Донген- настоящий лыжник. Он не профессионал, он служащий голландской угольной компании в Арвендбее и пошел со мной добровольцем. Но такого добровольца я бы никогда не променял на профессионала.

Мы вдвоем пошли к Фойну. Поминутно наши лыжи проваливались в большие проталины на льдах. Собаки увязали в тающем снегу. Полярная весна вступала в свои права, и вода снизу, вода сверху, вода со всех сторон начинала побеждать лед. На один момент в меня закралось сомнение- не вернуться ли к земле? Но это была только одна минута, о которой Ван-Донген даже не знал.

Три недели нашего путешествия в невероятно тяжелых условиях сказались на нашей упряжке. Почти одновременно пять собак из 9 околели от истощения, у нас нечем было их кормить. Мы использовали павших собак для поддержания сил остальных. Но не думайте, что под остальными я разумею их четвероногих собратий. В числе этих остальных были и мы с Ван-Донгеном. Только для собак мясо не надо было варить, а мы делали вид, что поджариваем его над жиденьким пламенем из нескольких капель спирта. От этого оно не делалось вкуснее. Когда ешь мясо полярной собаки во рту у тебя перекачивается со стороны на сторону кусок автомобильной шины самой высокой прочности. Пожужь-пожужь, да так и проглотишь целым куском.

К 4 июля мы добрались до Фойна. Здесь на Фойне, после того как мы излазили вдоль и поперек его неуютные серые скалы, мы впервые по-настоящему выпались. Все-таки незаменимая вещь- твердая земля. Особенно, когда попадешь на нее после скитания по пловучему льду. Никогда не верьте льду, даже когда толщина его бывает в несколько метров. В любой момент он способен сыграть с вами самую неприятную штуку.

Запасы нашего продовольствия подходили к концу, но я решил во что бы то ни стало пробраться насколько возможно к северо-востоку от Фойна и сделал все для отыскания группы Мальмгрена. Лед расходился все сильнее, и не было никакого смысла брать с собой собак, — они связали бы нам руки. Тащить нарты на себе тоже было невозможно, поэтому мы пошли с Ван-Донгеном налегке, с мешками за спиной. Для меня было совершенно ясно, что запас наших сил находится на пределе. Нужно было экономить каждую калорию. Я запретил говорить.

Все шло гладко до тех пор, покамест запасы пищи не уменьшились до нескольких огрызков собачьего мяса. Тут мой молодой друг не выдержал. Сначала, как-будто невзначай, он заговорил о необходимости вернуться. Потом его речь стала убедительнее и наконец со слезами на глазах он стал на меня кричать. Трудно было слушать этот истерический крик юноши, которого я тащил на смерть. Но лед не знает жалости. Это чувство должно быть чуждым тем людям, которые хотят бороться со льдом.

Ван-Донген начинал слабеть. Он опустился на лед и в порыве отчаяния сказал, что будет спать, и ему нет никакого дела до дальнейшей своей судьбы. Пожалеть в этот момент Ван-Донгена- значило его погубить. Нарочито злым голосом я обругал его самыми скверными словами, но он не обратил на это никакого

внимания. Тогда я с размаху ударил его ногой, взял за шиворот и стал поднимать. Юноша не подозревал, что это были мои последние силы. Он открыл глаза и, ошарашенный, поднялся, а я утверждаю, что если бы в этот момент он не встал на ноги, то я бы сам лег рядом с ним, и мы вместе навсегда остались бы на льду. А мы не могли оставаться на севере во льдах, быть может на расстоянии всего нескольких миль были люди, беспомощные, как дети, не знающие дороги к земле.

Прошло почти двое суток с тех пор, как мы покинули Фойн. Я стал понимать, что испытывал бедняга Ван-Донген, когда я тряс его за воротник. Мои веки смыкались, и нужно было время от времени поднимать очки и тереть глаза кулаком для того, чтобы они не закрывались. На эти вторые сутки нашего пути от Фойна мы попали на быстро дрейфующий лед. Лыжи уже не скользили по хрустящему снегу и все время хлюпали по воде.

Оглянувшись я увидел, что Ван-Донген стоит на другой стороне широкой черной трещины, успевшей образоваться во льду в течение одной минуты. Мы были разделены, и впереди- насколько хватал глаз- лед был изрезан такими же черными трещинами. Ван-Донген хотел переправляться через трещины, но я приказал ждать меня на той стороне и стал быстро, настолько быстро, насколько может ходить человек, которому лыжи кажутся пудовыми гирями, обходить трещину. Нужно было итти назад.

Двое суток мы побеждали лед, на третьи- лед победил нас. Но я не намерен был сдаваться. Отступить- значило признать себя положенным на обе лопатки. И вот мы отступили. Быть может наше отступление было несколько поздним. Льды расходились у нас на глазах. Временами я становился в тупик перед тем, как преодолеть нарастающие полыньи. Но все же, несмотря на почти полное

истощение, путь, который мы проделали в 40 часов, идя от Фойна, возвращаясь к нему, мы прошли в 30 часов.

Я не стану вас уверять в том, что не испытал бешеной радости, когда у меня под ногами закачалась последняя льдина, в тот момент, когда я перепрыгивал на серый отрог берега Фойна. Ван-Донгена я успел толкнуть к берегу еще раньше, и теперь он лежал уже у самого края воды в мертвом сне. Он не слышал, как собака, одна из двух еще державшихся на ногах, навалилась ему на лицо своей мохнатой мордой и лизала его сухим горячим языком. Две других собаки так ослабели, что лежали без движения около нарт.

Я тоже не выдержал пути в несколько десятков шагов, что отделяли меня от спальных мешков, и повалился на землю. Я не знаю, сколько мы спали. Проснувшись, мы развели огонь на последней рюмке спирта и поджарили несколько лохмотьев жесткого собачьего мяса. Отныне нам предстояло есть его сырым.

Я отчетливо представлял себе нашу судьбу. Мы отрезаны на Фойне. Сообщение с берегом преграждали широкие разводья, в которых сверкала на солнце черная поверхность воды. Со стороны моря путь для судов преграждали массы тяжелого пловучего льда. Таким образом ни партия Нойса, ни «Браганца» с моря не смогут к нам подойти.

— Ван-Донген, — сказал я своему другу, — вы молоды и вам хочется жить. Но не всегда жизнь длится столько времени, сколько хочет человек. И тот мужчина может считать себя человеком, который спокойно встретит смерть не тогда, когда он хочет ее встретить, а тогда, когда она приходит сама. И тот мужчина не может себя считать человеком, который умирает, омрачая свои последние минуты отчаянием или страхом. Это не значит, что не нужно отдалять от себя смерть. Мы будем бороться до последней возможности.

У нас есть еще 4 собаки. При желании, этого хватит на месяц, и мы еще посмотрим, кто кого победит: мы- льды или льды- нас. Слышите, Ван-Донген, мы будем бороться за жизнь, но если жизнь от нас уйдет, мы весело пошлем ей последний привет.

Молодой человек напрягал все силы, чтобы не предаться отчаянию. Он держался молодцом. Мне его не в чем упрекнуть. Но кто же станет спорить о том, что юноше хочется жить, и что смерть, в каком бы виде она ни пришла, его мало прельщает.

Целую неделю мы наблюдали смену дней и ночей на циферблате наших часов. Яркое солнце сменилось туманом, и тогда мы снимали очки и давали немного отдохнуть нашим уставшим глазам. Так наступило 12 июля. В этот день мы доели труп одной из собак, встретивших нас на Фойне по возвращении с моря. Труп другой лежал в запасе. Жизнь остальных двух едва теплилась. Теперь у нас уже было недостаточно сил для того, чтобы заниматься гимнастикой и прогулками, но я все же заставлял себя и Ван-Донгена каждый день обходить весь Фойн кругом. Это было единственным средством бороться с упадком сил и подкарауливающей нас цынгой. Все остальное время суток мы спали в своих мешках.

Было уже за полдень, когда мне показалось, что я слышу вой паровой сирены. Я разбудил Ван-Донгена и вместе с ним с северной оконечности Фойна, обращенной к морю высокой скалой, мы увидели неожиданное зрелище. Колыхаясь в сплошном море нагроможденных льдов, мимо нас с запада на восток медленно двигался корабль. На двух огромных желтых трубах я ясно различил в бинокль пятиконечные красные звезды. Я догадался, что это ваш «Красин», хотя к тому времени, когда я покинул «Браганцу», мне ничего еще не было известно о вашей работе. Мы знали только о том, что вы вышли на север.

Вы не заметили наших сигналов и продолжали двигаться к востоку. У нас еще оставалась слабая надежда на то, что, возвращаясь на запад, вы нас заметите. Но кто же мог знать, когда это случится. Много часов мы с унынием наблюдали за клубами вашего дыма, расстилавшегося по горизонту, но наконец исчез и он.

Мы решили, что теперь нам нужно ждать вашего возвращения. Однако в этот же день или вернее в ночь этих же суток мы услышали в воздухе гул самолетов. Это по вашему радио за нами пришли из Кингсбея шведские самолеты. Я сомневался в том, что им удастся сесть около Фойна, так как не видел ни одной достаточно крупной льдины. Однако на небольшом поле, примерно метров 200 в диаметре, посадка была все же совершена. Напрягая последние силы, мы с Ван-Донгеном бросились к нашим спасителям и, проваливаясь в воду, перелезая на четвереньках через торосы, добрались до летчиков. За нами слышался жалобный визг двух псов, оставшихся еще в живых. Один из них сделал попытку следовать за нами, но он был слишком слаб для того, чтобы удержаться на береговой крутизне, сорвался и кубарем скатился в море. Его товарищ, оставшийся теперь в одиночестве на Фойне, жалобно выл, подняв хвост к небу.

С чувством удивления смотрел я на этого маленького итальянца, так непохожего на своих соотечественников с «Читта-ди-Милано». В этом маленьком теле, затянутом в серую куртку альпини, оказалось достаточно сил, чтобы победить коварные льды полярного моря. В серых глазах, задумчиво уставившихся на дым сигареты, нельзя было угадать железной воли, толкавшей на смерть молодого Ван-Донгена.

Моя трубка потухла, и мы медленно побрели к Нью-Олесунду, над которым держались редкие клочья

тумана. В середине бухты Кингсбея одиноко торчали из комка белой ваты желтые трубы «Красина».

Сильным движением Сорра столкнул мою шлюпку с шуршавшей гальки, и, налегая на весла, я стал пробираться к «Красину» между корявыми льдинами, заполнявшими бухту. Как мало общего у этих отрывающихся от глетчеров льдин с теми девственно-чистыми пловучими льдами, какие постоянно встречали мы в открытом море. Я сильно гребу, шлюпка быстро бежит к дымящему высокими трубами «Красину». А за кормой моей шлюпки, на сером обрыве высокого скалистого берега стоит маленький затянутый в серый гладкий мундир человек. Серая шляпа с петушиным пером лихо сдвинута на правое ухо. Сорра остается здесь зимовать.

\*\*\*

Час яркоослепительной ночи на 25 июля. Из высоких желтых труб «Красина» густыми клубами повалил черный дым. У носового брашпиля стоит боцман Кудзелько, и по указаниям Пал Акимыча управляет выбором грохочущей якорной цепи. На штурманском мостике у самого борта, положив сухощавую руку на рукоять телеграфа, ожидает Бачманов. Выбрана цепь, Бачманов взял рукоять на себя, и послушные звонку винты подняли пенистые бураны за кормой.

Описав широкую дугу по бухте Кингсбея, «Красин» пошел в открытое море вдогонку за уходящей туманной волной по направлению к Ставангеру. Сзади, ослепительно сверкая под лучами полуночного солнца, провожают нас белые шапки острых зеброобразных шпицбергенских гор. И, голубея меж ними широкой

ледяной рекой, уходят в далекие ущелья гладкие дороги глетчеров.

В углу крошечной бухточки блестит широкими крыльями Ю. Г. I., а за ними небольшим желтым конусом- палатка Чухновского. Ее полы опущены, шесть человек спят в ней, завернувшись в меховые мешки. На тоненькой мачте полощется красный флажок, посылающий последний привет летунов далекому югу.

"Красин" уходит в Ставангер, на юг, чтобы лечить свои раны, полученные в тяжелых боях с полярными льдами.

## **ПРИМЕЧАНИЯ:**

**1.** Текст воспроизведён по публикации в журнале "Молодая гвардия", 1928 г., № 11 стр. 170–191, № 12 стр. 162–183.

**2.** В следующем году вышла книга Ник. Шпанов — Во льды за «Италией». (М-Л: Молодая гвардия, 1929, 224 стр., с 34 рис. и картами, тир. 5 тыс. экз.). Книга содержит вступительную статью Б.Г. Чухновского и 13 глав. Первые 5 глав содержат описание пути «Красина» от Ленинграда до того момента, с которого начинается журнальная публикация. Кроме того в журнальной публикации отсутствует рассказ Бьехоунека (или Бегоунека) о полёте «Италии» и рассказ о норвежском охотнике Хелмаре Нойсе.

**3.** Н.Н.Шпанов находился с на борту «Красина» в качестве представителя прессы. Всего журналистов было семеро:

1. Н.Н. Шпанов — от агентства «ТАСС» и "Известий ЦИК СССР и ВЦИК"

2. П.С. Чекердович — от "Московской Правды"

3. Валентин Суханов — от "Рабочей Москвы" и "Ленинградской Правды"

4. Давид Ефремович Южин — от "Красной газеты" (Ленинград)

5. Николай Кабанов — от "Комсомольской Правды"

6. Эмиль Львович Миндлин (1900–1981) — от "Вечерней Москвы"

7. Любовь Андреевна Воронцова (1900–1972) — от «Труда». Примечательно, что Воронцова, в связи с

исчерпанием мест для журналистов была оформлена кочегаром ледокола «Красин».

**4.** По возвращении из экспедиции ряд журналистов опубликовали книги об этом путешествии:

Вал. Суханов — Затерянные во льдах. Записки журналиста на «Красине». Л: «Прибой», 1929, 235 стр., тир. 5 т.э.

Д. Южин — С «Красиным» на спасение "Италии"- Л: Изд. "Красная газета", 184 стр. 1 изд. 1928 г., 10 т.э., 2 изд. 1929 г. 7 т.э.

Эм. Миндлин — На «Красине». Повесть о днях Красинского похода. С 24 фотогр. и 2 черт. — М-Л: "Земля и Фабрика", 1929 г., 276 стр., 6 т.э.

Л. Воронцова — На 810 северной широты. Записки участника экспедиции «Красина». С предисловием И.М. Иванова. — Л: Изд. "Красная газета", 1929 г., 80 стр., 10 т. е.

Н. Кабанов опубликовал книгу под псевдонимом: А. Том — Под Красной звездой. На Красине. С предисловием Б. Чухновского. — М-Л: Моск. рабочий, 1929 г., 208 стр. тир. 10 т.э.

Кроме того книгу о походе «Красина» написал и руководитель экспедиции Р.Л. Самойлович (1881-1940) — Во льдах Арктики. Поход «Красина» летом 1928 г. С 4 карт. и 54 рис. — Л: «Прибой», 1930 г., 360 стр., 4 т.э. 4-е издание этой книги вышло в 1967 г. под названием "На спасение экспедиции Нобиле. Поход «Красина» летом 1928 г. — Л: Гидрометеиздат, 1967 г., 316 стр., тир. 110 т.э. Из вышеназванных книг в 60-е годы была переиздана только книга Э.Миндлина.

## **Примечания**

**1**

Отрывки из книги автора, выходящей в изд. "Мол. Гвардия".

**2**

Корреспондент газеты "Ленинградская Правда".

**3**

Коньяк с растертыми яичными желтками.

**4**

Котелок — корпус компаса с жидкостью.

**5**

Сюсельман — Губернатор.